

М. Ю. Л.
Философский роман-оммаж

**ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ИЗ НЕИЗВЕСТНОСТИ – В ПЕТЕРБУРГ**

19 сентября 2019 года, в славную доковидную эпоху, доживающую, впрочем, свои последние денечки, из неизвестности в Петербург шел самый обыкновенный поезд, в одном из купе которого коротали время три не совсем обыкновенных пассажира¹. Один из них был роста высокого, другой — среднего, а третий так и во все маленького. Лицо высокого дышало энергией и властью, хотя проскальзывало в нем и что-то задиристо-мальчишеское. Лицо невысокого было неопределенно — одно из тех лиц, которые мы мельком видим и тут же забываем каждый день. Самым же замечательным было лицо пассажира среднего роста. Как бы лучше описать его? Во-первых, это несомненно красивое лицо и даже несколько женственно-красивое. Во-вторых, это лицо человека, прекрасно знающего себе цену. В-третьих, цена эта, в свое время несомненно высокая, в настоящее время была неопределенной. Представьте себе золотой слиток в тот день, когда цена на золото по каким-то неведомым причинам резко упала. Да, цена упала, но золото остается золотом — таким вот слитком упавшего в цене, но все же при любых условиях остающегося ценным золота и было лицо пассажира среднего роста.

Итак, три разноростных человека вместе со своими лицами² сидели в купе. Довольно долгое время троица сидела молча, не вступая друг с другом в беседу, но наконец одному из них, а именно высокому, надоело повисшее в купе неловкое молчание,

¹ «В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор» (Ф. М. Достоевский. «Идиот»).

² «— Стоп. Неужели вы думаете, что можно слушать комические куплеты с таким вот уныло-постным лицом? Я вас очень прошу — выйдите вместе с ним в сад.

— С кем, сэр?

— С лицом.

— Да, но оно хотело бы дослу...

— В сад.

— ...шать до конца.

— В сад. В сад»

(«Как Харрис поет комические куплеты». «Трое в лодке, не считая собаки» (1979). Экранизация романа Джерома К. Джерома. Реж. Наум Бирман. Сценарий: Семен Лунгин. В роли Харриса — Александр Ширвиндт).

Антон Александрович Рай родился в 1979 году в городе Сосновый Бор. Выпускник философского факультета СПбГУ. Род занятий — философия и литература. Автор статей в журнале «Нева»: «Литературные герои и работа», «Рассказ и история», «Литературные повторы». Один из ведущих авторов журнала «Топос».

и он обратился к «золотому» пассажиру среднего роста (в дальнейшем именуемым «средним»):

— Не возражаете, если я, выражаясь литературным языком, вступлю с вами в общение. Деваться-то нам некуда — все равно ведь познакомимся.

— Совсем не возражаю, — с охотой поддержал разговор средний, хотя, по-видимому, он с такою же охотой сидел бы и в полном молчании. — Всегда приятно поговорить с человеком, выражающимся литературным языком.

Следующий вопрос высокого, однако, был скорее бесцеремонно-кратким, а вовсе не изысканно-литературным:

— Зачем в Питер едете?

— По делу, — в тон ему ответил средний.

— Какому?

— По важному.

— Очень важному? — несколько насмешливо спросил высокий, как будто бы не верил в существование *очень* важных дел — во всяком случае для других.

— Очень, — спокойно и серьезно ответил средний и в свою очередь спросил:

— А вы?

— Зачем в Питер еду?

— Да.

— По делу. По важному. По очень важному делу в Питер еду. Так что мы оба едем в Питер и оба — по очень важным делам, с чем я нас и поздравляю.

— А я так просто из отпуска домой возвращаюсь, — вклинился в разговор человек маленького роста (в дальнейшем именуемый «маленьким»), которого, впрочем, никто ни о чем не спрашивал и чье замечание, таким образом, повисло в воздухе. Высокий же продолжил разговор со средним:

— Вы иностранец?

— Нет, — с улыбкой ответил средний. — А что — говорю неправильно? Или с акцентом?

— Вроде без акцента и не то чтобы неправильно, но как бы немного через силу — как будто нужные слова подыскиваете.

— Понятно. Просто я очень долго не был в России, наверное, лет десять, — за границей обретался. Вот навыки живого общения на русском и подрастерял.

— А что за границей делали?

— Лечился.

— Лечились? От чего лечились?

— Трудно сказать — меня потому за границу и отправили, что не могли точный диагноз поставить, а в Швейцарии как раз открылось заведение, где собирали таких вот «странных» пациентов, про которых не скажешь, что они в своем уме, но и сумасшедшими не назовешь.

— Ну, этак про любого можно сказать, — опять встрял маленький, но снова был проигнорирован.

— И что, вылечили в итоге? — продолжил вопрошать высокий.

— Вылечили, а точнее, я сам вылечился, да я, впрочем, и не совсем болел³. Мне просто надо было успокоиться, а лучшего места для успокоения, чем Швейцария, не найти.

— Так же как и худшего места, чем Россия.

³ «Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, в роде падучей или Виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько

— Пожалуй, вы правы. Мой врач активно не советовал мне возвращаться на родину — говорит, может быть рецидив. Но я в последнее время сильно тосковать стал.

— Ностальгия, что ли?

— Она самая. Прямо хоть в петлю лезь. Ну а чем в петлю, лучше уж домой, в Россию.

Все трое на минуту задумались: как можно интерпретировать данную фразу и стоит ли ее считать комплиментом России? Наконец высокий бросил мысленные интерпретации и продолжил разговор:

— Мы, кстати, так и не познакомились. Вас как звать-то?

— Михаил. Михаил Юрьевич Лев.

— И чем же вы, Михаил Юрьевич, заниматься в России собираетесь?

— Я не собираюсь, я уже и так занимаюсь. Я — писатель.

Тут маленький засмеялся, высокий же посмотрел на среднего испытующе-соболезнующим взглядом, как будто желая убедиться в его все же не до конца залеченном сумасшествии, — с тем, чтобы уже более с ним не разговаривать. Тот, однако, совершенно спокойно выдержал этот взгляд, как бы еще раз проговорив: «Да, я — писатель, не сомневайтесь даже». Но высокий сомневался:

— Лев Михаил Юрьевич... Не слышал о таком писателе.

— Мудрено было бы услышать. Я ведь писателем по-настоящему только в Швейцарии и стал — во время лечения. Лечение творчеством — распространенная практика; знаете ведь, например, как душевнобольные любят рисовать.

— Да, но на этом основании вовсе не всякий душевнобольной может назвать себя художником.

— Вы правы, хотя согласно современным представлениям с вами могли бы и поспорить. Лично со мной спорят постоянно, без усталости воспроизводя один и тот же вопрос: «Кто определит — художник перед вами или нет?»

— Кто разбирается в искусстве, тот и определит, — безапелляционно ответил высокий на этот, признаться, совсем непростой вопрос⁴.

— Замечательно. А вы, к примеру, разбираетесь? — в свою очередь не без насмешки спросил Михаил.

— Разбираюсь, можете не сомневаться. Правда, в живописи не особо, а вот как раз в литературе — вполне прилично, — по-прежнему уверенно заявил высокий, проигнорировав или вовсе не заметив насмешливости. Надо сказать, что хотя изначально здесь и подчеркивались властность и энергичность высокого пассажира, а также его некоторая бесцеремонность, но лицо его при этом несомненно можно было назвать еще и лицом интеллектуала. Представьте себе гиперактивного мальчишку, волею судеб запертого в библиотеке, — с большой степенью вероятности его неумная энергия уйдет в чтение, хотя ни по темпераменту, ни по складу характера он и совсем не похож на читателя. Вместе с тем сама его неумность служит гарантией, что, став читателем, он прочтает очень много — если же библиотека будет подобрана со вкусом, то это почти является гарантией, что мальчишке будет привит и отменный вкус. Таким вот гиперактивно-вынужденным читателем, запертым в хорошей библиотеке, а потом выпущенным из нее на волю, и казался высокий (скоро он и сам расскажет о себе, в целом

раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: „что же, вылечили?“ — белокурый отвечал, что „нет, не вылечили“.

— Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, — язвительно заметил черномазый» (Ф. М. Достоевский. «Идиот»).

⁴ «— Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на земле?»

— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос» (М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

подтвердив наши предположения), — отсюда его заявление о том, что он, мол, разбирается в литературе, не выглядело чрезмерно смешным или абсурдным (разве что несколько неуместным видится его безапелляционный тон). Сделав это пояснение, возвращаюсь к диалогу:

— Разбираюсь, можете не сомневаться. Правда, в живописи не особо, а вот как раз в литературе — вполне прилично, — уверенно заявил высокий.

— Вот как! Так, может, вы имеете какое-то отношение к издательскому бизнесу? Это было бы весьма кстати.

— Может, и имею... А скажите, у вас папка на коленях лежит — это не рукопись, случайно?

— Рукопись.

— Ваша поделка?

— Моих рук творение.

— И никаких других вещей я что-то у вас не вижу.

— Никаких других вещей у меня и нет. В одной этой рукописи вся моя суть и заключается⁵. А иногда мне даже кажется, что я перестал быть собой и превратился в придаток к написанному тексту. Так что есть я или нет — теперь не так уж и важно, а вот рукопись — она должна существовать.

— Разрешите взглянуть?

Михаил охотно передал высокому папку, в которой обнаружилась скрепленная кипа бумаг — страниц этак в четыреста. Высокий с удивлением заметил:

— Это что же — все от руки написано?

— В Швейцарии нам не разрешалось пользоваться компьютерами. Поначалу это довольно сильно напрягало, но, поверите ли, привыкнуть к отсутствию компьютера можно довольно быстро.

— Отчего не поверить. И все же это удивительно: читать — сегодня! — от руки написанный текст! Всамделишная рукопись. Правда, почерк у вас, надо сказать, прекрасный.

— О, в этом у меня настоящий талант, я прямо-таки каллиграф⁶.

— Несомненно. Ну а сам-то роман кто-то уже читал?

— Мой лечащий врач хотел прочесть, но он просил меня писать по-немецки или по-французски, а по-русски, сами понимаете, он не читал, как и другие пациенты. А по-немецки я писать пробовал, но у меня плохо получалось.

— А по-русски — хорошо?

— По-русски — хорошо.

— Вы, как я вижу, о своем романе довольно-таки высокого мнения.

— Какой же писатель будет невысокого мнения о собственном произведении? Иной еще только первые пробы пера делает, а туда же — напечатайте, говорит, меня тиражом не менее чем в миллион экземпляров да еще Нобелевскую премию вручить не забудьте. А не вручат или даже не напечатают — зажимают, значит, гения. Другой — еще хуже. Годами пишет, ничего не выходит, отовсюду одни щелчки получает; уже ото всех, от кого только можно услышал, что он графоман, а все равно надеется, что раздается звонок, книгу его напечатают все тем же миллионным тиражом и вручат все

⁵ «— И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? — спросил черномазый.

— Об заклад готов биться, что так, — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, — и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался» (Ф. М. Достоевский. «Идиот». Разговор Рогожина и Мышкина).

⁶ Всем известная фраза князя Мышкина.

ту же вожделенную Нобелевку. Нет, писатели — народ в своем самомнении упорный. Непробиваемый в своем самомнении народ, — среднего, то есть Михаила, казалось, немного потешали все эти горе-писатели, хотя можно было уловить в его словах и сочувствие к ним. Высокий же продолжал смотреть на среднего с нескрываемым скепсисом, вероятно не отделяя его от требующих сочувствия горе-писателей.

— И вам тоже Нобелевку подавай? — прямо издевательски спросил он.

— Нет, без Нобелевки я обойдусь, а вот напечатать рукопись в каком-нибудь приличном издательстве надо.

— И приличным тиражом, конечно? — продолжил издеваться высокий.

— И приличным тиражом, — спокойно подтвердил Михаил. — Впрочем, с этим я особых проблем не предвижу.

— Это почему же?

— Да уж такой я человек: что другим с трудом дается, у меня как-то само собою выходит, — веско, без всякой рисовки сказал Михаил. Ни издевательский тон высокого, ни его резкость ни на секунду не смутили его.

— А у меня прямо наоборот: что всем легко дается, у меня никак не получается; случись мне что написать — ни в жизнь никто не напечатал бы, — грустно заметил маленький. — Я, наверное, даже самиздатом умудрился бы не издаться, — совсем похоронил он себя. Средний посмотрел на маленького с любопытством, но высокий снова его проигнорировал. Он весь погрузился в чтение рукописи.

— Так, первая фраза: «Начну с самого важного». Ишь ты, с самого важного он начнет. Интересно, что там у нас самое важное? А, вот оно что... Хм... Впрочем, сейчас, в поезде все равно вердикта не вынесешь... Писать вы, конечно, умеете, но кто сейчас не умеет писать? Всеобщее бедствие всеобщей грамотности. А это единственный экземпляр романа?

— Единственный.

— Какая любопытная ситуация... Кстати, я так до сих пор и не представился. Александр Александр Сергеевич Томский.

— Пойдите-ка... — снова зашевелился малорослый собеседник, которого, впрочем, до сих пор отказывались принимать в собеседники. — Пойдите-ка, да не может же быть, чтобы...

— *Может* быть, — сурово и брезгливо прервал его высокий.

— Неужели вы тот самый Томский — сын того самого Томского — нефтяного миллиардера, который умер две недели назад и оставил вам все свое неслыханное состояние? Журнал «Форбс» оценивает его в десять миллиардов долларов! И все теперь ваше. С ума сойти!

— Ну чего ему, скажите пожалуйста! — раздражительно кивнул на маленького Томский. — Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут неделю предо мной пляши.

— И буду, и буду плясать⁷. Вы думаете, я каждый день с миллиардерами встречаюсь? Денег-то ваших, мне, конечно, не потрогать, но, так сказать, лично прикоснуться...

— Только попробуй прикоснись — вмиг в окно вылетишь!

— Я фигурально...

⁷ «— А теперь миллиончик слишком разом получить приходится, и это, по крайней мере, о, господи! — всплеснул руками чиновник.

— Ну чего ему, скажите пожалуйста! — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин: — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

— И буду, и буду ходить.

— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!» (Ф. М. Достоевский. «Идиот»).

— А я — буквально. Так и знал, что кто-нибудь привяжется... Писатели никому не интересны, а вот актеры, миллиардеры и всякие прочие президенты — прямо медом намазаны. Тьфу... Кругом одни сумасшедшие... Извините, Михаил Юрьевич.

— Не извиняйтесь, Александр Сергеевич.

— А что же вы едете как обычный смертный — в обычном купе? — продолжил маленький. — Я бы на вашем месте или уж целое купе себе выкупил, а лучше так и в своем собственном вагоне разъезжать. Средства позволяют.

— Но тогда бы я лишился удовольствия общения с тобой, а заодно вот и с Михаилом Юрьевичем не пересекся бы. А вообще, я еще «не вступил в права наследования» — так это, кажется, называется. Вот еду вступать.

— Кажется, у вас с отцом был какой-то конфликт...

— Ну не знаешь ведь...

— Ан вот и знаю. Глупов все знает. Меня, кстати, Василием Глуповым зовут, хотя никто и не спрашивает. Конечно, невелика птица, а тоже имя-фамилию имею. Хотя как можно жить на свете с фамилией Глупов!⁸ Ну да живу как-то. Хотя...

— Поближе к делу.

— Правильно, не про себя же говорить — никому сие не интересно. Не миллиардер ведь и даже не писатель... А вот представьте себе писателя Васю Глупова — купили бы вы книгу такого автора? Миллиардера Васю Глупова, может, еще и скушали бы... С деньгами все скушают. Деньги, как известно, даже и таланты человеку сообщают⁹. Такая уж волшебная вещь.

— Деньги — вещь неплохая, но ничего волшебного в них нет. Деньги — это сила, но почти никто с толком этой силой не пользуется. Деловые люди всех мастей любят повторять: «На деньги дело надо делать». Оно верно, так и надо, но что они имеют в виду? — что на деньги надо сделать еще больше денег. А разве это дело? Нет, не дело. Совсем не дело. А уж что касается трат... Дальше покупки высокотехнологичных игрушек, пользования моделей или швыряния пачек в камин дело не идет. Особенно все эти рогожинско-швырятельные жесты меня бесят. Это, конечно, верх оригинальности — спустить все в унитаз и считать себя на этом основании человеком с широкой душой! Просто Эверест оригинальности! Бесит!

Александр проговорил все это с жаром — он явно повторял наболевшие и уже многократно произнесенные про себя слова, — теперь же слова эти вырвались наружу подобно лаве. Извергнувшись, вулкан-Александр обратился к Васе Глупову:

— Вот тебе сколько денег нужно для счастья?

— О, отчего бы и не помечтать в компании миллиардера! Да, пожалуй, много денег мне и не надо. Пятьдесят тысяч долларов меня вполне устроили бы.

— В месяц?

— На такие пряники судьбы я не рассчитываю. С меня хватит и единовременной выплаты.

— Получишь миллион.

— Что-что?

— Миллион, говорю, получишь¹⁰.

⁸ «— Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?

— Отчего же нет?» (Ф. М. Достоевский. «Идиот»).

⁹ «Нажив деньги, знайте, — я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира» (Ф. М. Достоевский. «Идиот». Монолог Гани Иволгина).

¹⁰ «— Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? — спросил Остап. — Только подчитайте все.

- Вы это серьезно?
- Серьезно, и при свидетеле к тому же. Что, думаешь, осчастливил я тебя?
- Если только это не шутка. Знаете, пока деньги не в руках, все как-то...
- Ладно, ладно, будут и в руках. Ха-ха, забавно получилось: только что осудил рогожинско-швырятельные жесты — и тут же миллион на ветер выбрасываю.
- Я — не ветер. Как говаривал Тартюф: «Я оборот деньгам похвальный дам».
- На благо ближнему?¹¹
- На свое собственное, если разрешите.
- Собственное благо всегда иллюзорно.
- Это почему же?
- Долго объяснять, да и место неподходящее, да и не поймешь ты.
- Куда уж нам! Мы, как говорится, в университетах не учились...
- Не обучались¹², — поправил не совсем точную цитату Томский.
- Мы в университетах не обучались... — послушно поправился Василий.
- Оно и видно. Хотя Мольера и Булгакова при этом цитируешь; образование, значит, приличное имеешь, придуриваешься больше.
- Что еще остается придулку, как не придуливаться?
- Ну и придуривайся, раз сам себя придулкум считаешь, а я тебя переубеждать не стану, — раздражительно отрезал Томский.
- Переубеждать не надо; дайте мне только миллион — вот я уже и не придурок.
- Дам, не волнуйся. Хм, мне и самому интересно, что ты с миллионом сделаешь. Впрочем, именно что ничего интересного. Нет у людей фантазии. Насмотрелся... Так что ты там про меня с отцом якобы знаешь?
- Да говорят, а точнее, показывают (я по ящику сюжетец видел) — так вот, говорят, что женщину вы с ним не поделили.
- Тьфу ты, мерзость какая... Желтизна на желтизне.
- Неужели неправда?
- Про все эти сюжетцы уместен другой вопрос: неужели хоть что-нибудь из этого правда? Конечно, неправда. Знаешь, какая любимая поговорка всех этих желтушников?
- Дыма без огня не бывает?
- Конечно. Они именно что напустят дыма, а потом и говорят: раз столько дыма, не может быть, чтобы и огонек где-то под ним не теплился. Тем и живут.
- Но ведь была женщина, даже интервью с ней показывали.
- Ну, раз интервью, значит, все! Впрочем, успокойся: женщина такая была, и даже стычка у нас состоялась по ее поводу...
- А говорите — вранье.

— Сто рублей, — ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.

— Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.

Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

— Ладно, — сказал Остап, — получите пятьдесят тысяч» (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

¹¹ «Мой долг — спасти добро от недостойных рук;

В противном случае наследники имения

Могли бы дать ему дурное примененье.

Я ж деньгам оборот весьма похвальный дам

На благо ближнему, во славу Небесам» (Мольер. «Тартюф»).

¹² «Мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ванными не жили» (М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Монолог Шарикова).

— И говорил, и говорю. Не из-за нее мы с отцом поссорились. А там история банальная — олигарх на крючке у охотницы за олигархами. Ты, кстати, это интервью-то сам видел?

— Видел.

— Ну и что скажешь про мадам?

— Красивая мадама.

— И этот туда же. Вот скажи ты мне: ну что в ней красивого?

— Прямо как с обложки журнала сошла. Гламурная женщина — мечта фотографа¹³.

— Гламурного фотографа. Вы не представляете, Михаил, какие они страшные, когда с ними хоть немного в общении войдешь. Буквально тела без душ, я не преувеличиваю, именно такое впечатление многие из них производят. А все, что проглядывает в них от души — они все это мгновенно душат. Боятся всякого проявления живого. Ну да это отдельный разговор.

— История такая есть, — неожиданно сказал Михаил.

— История?

— Да, история о возникновении пластической хирургии. Не слышали?

— Нет.

— Так я вам ее сейчас расскажу.

История о возникновении пластической хирургии

Жила на свете барышня — всем пригожая барышня, но сама она считала себя дурнушкой, а ей хотелось быть распервейшей на свете красавицей. Что делать? Обратиться к исполнителю различного рода суетно-тщеславных человеческих желаний, конечно — к самому дьяволу то есть. Обратилась. Дьявол согласился помочь, но, как водится, под залог души. Девушка тоже согласилась. Тут-то, при передаче души, и возникла загвоздка, — потому как души у барышни не оказалось. Уж искали они душу-душеньку, уж как искали, — но даже и намека не нашли. Задумался дьявол, крепко задумался, а придумщик он все же большой, так что месяца через два нашел-таки выход из ситуации. «Грешники, — говорит, — обычно расплачиваются душой, ну а у кого нет души, пусть расплачиваются телом. Согласна ли ты изуродовать свое тело, но при условии, что окружающим будет казаться, что оно стало красивее?» — «А им точно будет так казаться?» — спросила девушка. «Точно», — пообещал дьявол. Девушка согласилась, и во мгновения ока была располосована скальпелем и накачана силиконом, так что из милой барышни превратилась в настоящего крокодила — ну да окружающие девушку люди в своем большинстве считали, что она превратилась-таки в красавицу — их взоры туманил дьявол, любой же человек, от дьявола хоть сколько-то отдаленный, прекрасно видел совершенную подмену. Так родилась пластическая хирургия, штампующая гламурных крокодилов; правда, обман слишком часто выходит наружу и для самых затуманенных глаз (так что только слепой не увидит, что нормальное тело безнадежно изуродовали) — ну да ведь не может же дьявол не обманывать и в мелочах. Такая вот история.

— Сами придумали? — спросил Александр Высокий.

— Конечно, сам, — не без ехидцы ответил за среднего Михаила маленький Василий.

— Тебя, кажется, не спрашивали, — одернул его Александр.

— Зачем вы так грубо? — вступился за Василия Михаил. — Ни к чему это.

¹³ Требуется ли говорить, что это перефразировка всем известной фразы Остапа Бендера: «Знойная женщина — мечта поэта». Не требуется. Но полагается.

— Пожалуй, что и ни к чему, — согласился Александр. — Да он сам виноват — как будто и рад, что его свысока третируют. А, Вася, не прав я?

— Правы, как же вы можете быть не правы? Десять миллиардов раз правы.

— Видите, Михаил. Он сам напрашивается.

— Он напрашивается, а вы не ведитесь. Человека третируют, он привыкает и начинает вести себя так, как будто напрашивается на третирование — вот его и дальше третируют, причем все больше и больше, — а он все больше напрашивается.

— Это уже как будто новая история начинается, — снова не без ехидцы заметил Вася. — Жил на свете человек, которого все третировали...

— Видите — таких персонажей не третировать, так они враз распускаются.

— Ничего, ничего... *Жил на свете человек, которого все третировали.* Это он меня хорошо поддел... Славно поддедюлил, если уж литературным языком выражаться.

— Поддедюлил — словцо-то какое! Где-то я его встречал, но так с ходу не вспомню где. У Достоевского где-то, — призадумался Александр.

— Какое — у Достоевского. Гоголевское словечко. Типично гоголевское, — выразил свое мнение Василий.

— Достоевское, достоевское, — стоял на своем Александр. — Михаил нам сейчас подтвердит, что достоевское — он-то наверняка помнит.

— Подтверждаю, что гоголевское¹⁴, — улыбнулся Михаил. — Но я со своими историями и словечками влез, а вы нам так свою историю и недорассказали.

— Я уж и забыл, где остановился, — сказал немного раздосадованный своим поражением в споре Александр.

— Как же, как же, — снова напомнил о себе победитель Василий. — На гламурной красавице с обложки и остановились. Той самой, на которую смотришь — она вроде красавица, а на самом деле — испеченный диаволом крокодил. Вы еще из-за этого крокодила с отцом разругались.

— Да не из-за нее, я же сказал. Разругались мы совсем по другим причинам, а тут еще эта история с гламурной «красавицей», ну, я ему и высказал пару слов.

— А он?

— А он мне пинка под зад. Проклял, лишил наследства и выбросил на улицу. Звучит как в романе девятнадцатого века, но и в двадцать первом веке такое случается.

— А из-за чего вы изначально поссорились-то, вы нам так и не рассказали.

— Верно, не рассказал, хотя это самое главное и есть. Я хотел свой собственный бизнес открыть, а из отцова бизнеса, соответственно, уйти. Он и не то чтобы сильно возражал, но его взбесило, что именно за бизнес я хотел открыть. А хотел я замутить (ужасное слово и совсем не гоголевское!), так вот, хотел я организовать свое издательство.

Здесь Михаил, несмотря на все свое величаво-непоколебимое спокойствие, заметно оживился и почти воскликнул:

— Издательство!

— Именно. Давняя моя мечта. Тут придется небольшую предысторию рассказать — о том, как моя жизнь складывалась. Отец всегда деньги зарабатывал — такой, знаете, купчина настоящий, разве что без бороды. Заработал, прогулял — и опять на заработки. Заработал, прогулял — на заработки. Романтика!¹⁵ Но это я шучу, хотя гулякой

¹⁴ «А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мною, помнишь, как играли в шашки, ведь я выиграл... Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться» (Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Монолог Ноздрева).

¹⁵ «— Что он теперь обо мне подумает?

— А чего ему думать? Завидовать будет.

— Завидовать?

он был и отменным — как и зарабатывальщиком, впрочем. Крепкий мужик и одновременно рубаха-парень. Но как часто бывает с такими грубоватыми гуляками, жену он себе нашел почти полную противоположность — образованную и тихую «хорошую» девушку, библиотекаря.

— Каким же ветром его в библиотеку занесло?!

— О, это часть семейной легенды. Полагаю, что ложь, ну да легенда как сложится — опровергать ее уже бесполезно. Как сказали, что Менделеев увидел периодическую таблицу, когда ему во сне упало яблоко на голову — все, значит, так оно и есть. Да и мать говорила, что это правда — не про Менделеева, а про отца. Якобы он редкую книгу искал — хотел подарок кому-то там сделать, надеюсь, хоть деловому партнеру, а не постельной партнерше. Книгу ему насилу выдали (редкая книга), а он ее и подарил — возвращать и не подумал. Безумный штраф еще заплатил. Вообще, отец вокруг любого дела умел какой-то нездоровый шум и возню устроить — есть такие люди. А параллельно он в мою будущую мать влюбился, если только можно назвать его темную страсть столь чистым именем¹⁶. Произвести впечатление он умел, в этом ему не откажешь. Хвост распушил и давай очаровывать. В общем, скоро и свадьба состоялась, а через какое-то время и я на свет божий выплыл. Отец был из тех отцов, которые детьми (пока они маленькие) интересуются мало, так что я больше на материнском попечении находился. Мелкая, но характерная деталь: отец настоял, чтобы мать бросила работу. Ну а что остается женщине без работы? Дом и ребенок. Домом она почти не занималась, готовить не умела и не любила (да отец и редко когда дома ел) — в общем, занималась она почти исключительно мною. А больше всего любила она мне читать. Жюль Верна и Конана Дойля — пока я был маленький, а как чуть подрос, так и более серьезную литературу, вплоть до Толстого с Достоевским. Очень любил я эти чтения, особенно ласково-баюкающий материнский голос. Любящие мамы — лучшие аудиокниги на свете.

А потом мама умерла, мне тогда было двенадцать лет. Темная история. Когда я подрос, отец решил, что пора меня, как он сформулировал (в присутствии мамы), «оторвать от материнской сиськи», а то я, мол, девчонкой вырасту. Решил и сделал: забрал меня и поселил в отдельной квартире, причем мама даже не знала где. Для нее это было концом всего, что хоть как-то привязывало ее к жизни. Результат: осенью отец забрал меня, а уже зимой мамы не стало. Я почти не сомневаюсь, что она покончила с собой, хотя официально она умерла от воспаления легких, — ну да кто не хочет жить, найдет способ умереть. Можно, например, заболеть и не лечиться... — а я самолично видел, как во время болезни мама подошла к окну и распахнула его, подставив свое больное тело под порывы ледяного ветра. Я вскрикнул, мама смутилась и сказала, что ей не хватает воздуха... Вскоре она и слегла так, что уже не встала. Вы спросите: как я мог увидеть и вскрикнуть? — ведь я тогда уже не жил дома. Это правда, но память иногда играет с нами странные шутки. Мне кажется, я видел эту сцену — скорее всего, раньше — тогда мама тяжело болела, но выздоровела, хотя, похоже, уже тогда она больше хотела умереть. А может, я просто все себе нафантазировал —

— Ну а как же. Он — кто? Инженеришка рядовой, и все. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером — с работы. Дома — жена, дети сопливые. Ну, в театрик ходит, ну летом в санаторий съездит, в Ялту. Тоска смертная... А ты? Ты — вор, джентельмен удачи. Украл, выпил — в тюрьму. Украл, выпил — в тюрьму. Романтика! А ты говоришь... Конечно, завидует» («Джентельмены удачи» (1971). Режиссер Александр Серый. Авторы сценария: Георгий Данелия, Виктория Токарева).

¹⁶ «...В натуре Гуго была склонность к безрассудным и жестоким шуткам, что и сделало имя его притчей во языцех во всем Девоне. Случилось так, что этот Гуго полюбил (если только можно назвать его темную страсть столь чистым именем) дочь одного фермера, земли коего лежали поблизости от поместья Баскервилей» (Артур Конан Дойль. «Собака Баскервилей»).

не знаю... Но под конец она и так все время была в подавленном состоянии: из-за неудавшегося брака и отсутствия каких-либо занятий и перспектив. Какое-то время они с отцом сильно ругались (мама находила переписку с девицами в его телефоне и прочее, и прочее), а потом она не то чтобы смирилась, но — понемногу снизошла на нет. Только я и поддерживал ее на плаву, а теперь и меня забрали. В общем, она очень быстро превратилась в тень, заболела и умерла.

В конфликтах с отцом я, разумеется, всегда был на ее стороне; я в этом смысле чисто фрейдистский ребенок — маменькин сынок, ненавидящий отца. А уж когда мама умерла, моя ненависть достигла апогея, и я смотрел на отца не иначе как на убийцу. Впрочем, даже сейчас я виню в ее смерти именно его и уверен, что прав.

Сами понимаете, что при таких условиях наши с отцом отношения выстраивались туго, а после смерти мамы он наконец вплотную «занялся» мною. Убив маму, он захотел убить во мне и все, что она в меня вложила. Отец вообще хотел воспитать из меня «настоящего мужчину», в самом таком пещерном понимании. Хотя нет, не в чисто пещерном, а в сочетании пещерного понимания с современным. То есть внешне — цивилизованный человек, а на самом деле — все тот же мужик с дубиной, всех мыслей у которого — как бы побольше территорий пометить и самок обречь. Он мне так прямо и говорил: «Все, что в книгах написано, и все, чему вас в университетах учат, — муть¹⁷. Правда жизни испокон веков не меняется. У кого сила, тот и правит. У кого деньги, тому и поклоняются. Посмотри кругом и убедись, что я прав. Все эти рефлексующие нищebroды, которыми заполнена вся эта так называемая литература, — сплошь какие-то недоделки. Читал я как-то... „Над пропастью во ржи“, что ли... Этому парню просто ремня надо было вовремя всыпать — он бы школу враз и закончил. Так нет, с ним носятся как с писаной торбой, а сам он носится со своими подростковыми мыслишками и комплексами. Сцена с девушкой по вызову — вообще апофеоз. Что делать с ней, не знает — и давай разводить антимонии по поводу, как ему ее жалко, или что там...¹⁸ А вы, глупцы, все это читаете и сами потом такими же недоделанными подростками остаетесь».

Книги он вообще ненавидел до самозабвения. <...> Как видите, помимо того, что он был книго- и женоненавистником (точнее, сексистом, то есть женолюбом и женоненавистником одновременно), был он еще и ксенофобом. Расистом, точнее — никогда он не упускал случая пошутить про негров, которые не хотят, чтобы их называли неграми. «Как негра ни назови — белее он от этого не становится», — пошучивал он. Вообще, репертуар его расистских подколов был неисчерпаем, но удивительное дело, если бы вы напрямую спросили у него, расист ли он, то он бы ответил, что — нет, не расист. <...> Современность, слава небу, нетерпима к расизму, так что расистам при-

¹⁷ «А видите вот эту саблю? вот ваша мать! Это все дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия — все это *ка знащо*, я плевать на все это! — Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати» (Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»)..

¹⁸ «Но я совершенно не знал, о чем с ней говорить. Хотел было спросить, как она стала проституткой, но побоялся. Все равно она бы мне не сказала.

— Вы сами не из Нью-Йорка! — говорю. Больше я ничего не мог придумать.

— Нет, из Голливуда, — говорит. Потом встала и подошла к кровати, где лежало ее платье. — Плечики у вас есть? А то как бы платье не измялось. Оно только что из чистки.

— Конечно, есть! — говорю.

Я ужасно обрадовался, что нашлось какое-то дело. Взял ее платье, повесил его в шкаф на плечики. Странное дело, но мне стало как-то грустно, когда я его вешал. Я себе представил, как она заходит в магазин и покупает платье и никто не подозревает, что она проститутка. Приказчик, наверно, подумал, что она просто обыкновенная девчонка, и все. Ужасно мне стало грустно, сам не знаю почему» (Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»).

ходится как-то выкручиваться, обманывая в том числе и самих себя. Однако, перефразируя расистскую подколку отца: сколько бы расист ни называл себя нерасистом, меньшим расистом он от этого не становится. Но это так, к слову. Вернемся к моему отцу. Книгофоб, женоненавистник, да еще и расист. Чудное сочетание! Он даже составил длиннющую родословную, по которой выходило, что он является самым чистокровным русаком (а всякий «нерасист» почему-то считает своим долгом доказать, что в нем нет ни капли чужой крови), ведущим свой род от каких-то там, уже не вспомню кого, из времен Ивана Третьего, а то и еще раньше. При этом Гитлера он не любил, называл истеричкой, а вот про Сталина говорил: «Правильный мужик, суровый». Впрочем, это к делу отношения не имеет — так, еще один штришок к портрету.

Но в одном я бы отдал отцу должное — он вполне разумно не подпускал меня к большим деньгам. Не знаю, может, это просто от жадности, ну да не суть. Главное, что лет до пятнадцати я вообще не понимал, что являюсь сыном миллиардера, а когда до меня наконец дошло, очень мне захотелось получить свою часть пирога, ну хотя бы пирожок, так сказать, но отец был непреклонен: «Мне не нужен избалованный сыночек богатых родителей; пока сам не заработаешь — больших денег не увидишь». Но я их видел, конечно, — только со стороны. И деньги большие, и большие людей с большими деньгами. А как со стороны на эту публику посмотришь, так частью этой публики уже не очень и хочется быть. Но как бы то ни было, а окончив университет (отец, при всей своей нелюбви к обучению, и мысли не допускал, чтобы я остался без диплома¹⁹), в бизнес отца я все же впрягся. Отец был тем еще тараном (тиран-таран); если ему что в голову пришло, то противостоять ему мог только человек со сходной силой воли. А я слабовольным не был, но просто я тогда сам не очень-то понимал, чего мне от жизни надо, поэтому плыл по течению, а задавал это течение отец. В общем, я жил тогда, как почти все живут — что-то делал, непонятно зачем, думая иногда: неужели так вся жизнь и пройдет? В голове — котировки акций и всякая прочая дребедень. Одно время я даже книги читать перестал. Наверное, года за три ни страницы не прочел.

Впрочем, это я сейчас так скептически о том времени говорю, а тогда, помнится, здорово я во все эти бизнес-дела втянулся. Хватка у меня была отцовская, да и голова соображала. Знаете, есть свое извращенное удовольствие в том, чтобы следить, как увеличиваются циферки на счете. Вроде как действительно что-то важное происходит. Да и вообще — азарт, адреналин, даже романтика своего рода: утром — деловые переговоры в Париже, вечером — в Риме; женщины роскошные вокруг порхают — эти самые мадамы глянцевые, крокодилы силиконовые. В общем, отец уже почти восторжествовал — я уже почти превратился в самого что ни на есть настоящего мужчину. Еще бы немного и...

Но потом я случайно наткнулся на один текст. В инете. Он назывался «Сон смешного читателя» — стилизация под рассказ Достоевского «Сон смешного человека». Надеюсь, вы читали «Сон смешного человека»?

— Думаю, в нашем купе все и всё читали, — предположил Вася Глупов, Михаил же задумчиво промолчал.

¹⁹ «Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержат его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею» (Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»).

— И я так думаю. А рассказ из инета я вам сейчас тоже прочту, он совсем короткий, а без него и мой рассказ дальше не пойдет. Так что я посчитаю вас как бы Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, а сам превращусь в доктора Мортимера, читающего им древнюю рукопись²⁰.

Томский достал планшет, несколько секунд ушло у него на поиски требуемого текста, после чего он начал читать:

Сон смешного читателя

Я смешной читатель. Они называют меня еще сумасшедшим, что ж, они правы, наверное, хотя мне-то так не кажется. Их смешит, что я принимаю все прочитанное в книгах за чистую монету, им кажется, что это ненормально, ну а я не пойму другого: разве когда они читают книги, то не думают, что все это взаправду? Когда-то мне довелось читать Декарта, а он говорит, что сомневаться можно во всем, кроме сомневающегося во всем «я». Но я не согласен. Сомневаться можно во всем, кроме того, что написано в книгах, причем в книгах художественных. Раскольников, Константин Левин, Джейн Эйр, Шерлок Холмс — разве можно хоть на миг допустить, что их не существует? Нет, это никак невозможно. Декарт просто не дожил до их появления, а то, верно, согласился бы со мной. С кино та же история, и с мультфильмами, естественно, тоже. Причем, например, диснеевского мульти-Винни-Пуха, конечно, не существует, а вот советский мульти-Винни-Пух, тот самый, созданный Хитруком, Заходером и Леоновым, конечно же, бессмертен, ну или, как я подозреваю, переживет даже и Винни-Пуха Милна. Но это я немного уклонился в сторону, хотя и не совсем, потому как все сейчас увяжется в одно: и книги, и фильмы.

А тогда я читал «Властелина колец» Толкиена, кстати, одна из моих любимых книг — пусть бы кто-нибудь попробовал сказать, что Гэндальфа и Арагорна не существует! Смешно ведь, правда? И вот чтение подходит к концу, а я в сотый юбилейный раз подхожу к Ширу, где, как оказывается, в отсутствие спасающих Среднеземье хоббитов начали твориться всякие темные дела... Тут-то меня и накрыла весть: «Властелина колец» экранизировали! Некто Питер Джексон экранизировал. Ну и шума же было вокруг этой экранизации! — я, понятное дело, не мог пропустить ее. Собрался я, значит, и пошел в кино. Темные дела, творящиеся в Шире, оказались ничем по сравнению с темными делами, творящимися на экране. Я смотрел на гламурный Шир, на опереточных черных всадников, на свеженашампуненного Арагорна, и на сердце у меня становилось все тяжелее. Как я досидел до конца, не помню, так же плохо я помню, что со мной творилось долгое время после просмотра. Друзья смеялись надо мной, они говорили мне, что это ведь только кино, да и кино неплохое, — я говорил им, что смертельно ранен, подобно Фродо, пронзенному кинжалом короля-призрака. Они смеялись и над этим, им все казалось смешным. А я ждал продолжения. Не знаю почему, но я должен был досмотреть этот фильм до конца. Испить чашу, так сказать. Так я прожил целый год, или сколько там прошло до

²⁰ «— Это, по-видимому, какая-то запись.

— Да, запись одного предания, которое живет в роду Баскервилей.

— Но, насколько я понял, вы пришли посоветоваться со мной по вопросу более практическому и более близкому к нам по времени.

— Да, животрепещущее близкому! Он не терпит отлагательств, его надо решить в течение суток. Рукопись совсем короткая, и она имеет непосредственное отношение к делу. С вашего позволения, я прочту ее вам.

Откинувшись на спинку кресла, Холмс сомкнул концы пальцев и с видом полной покорности судьбе закрыл глаза. Доктор Мортимер повернулся к свету и высоким скрипучим голосом начал читать нам следующую любопытную повесть древних времен...» (Артур Конан Дойль. «Собака Баскервилей»).

того, как на экраны вышла вторая часть экранизации. Чего же все-таки я ждал? Что вторая часть будет лучше? Что по мановению волшебной палочки злые чары рассеются, и мы увидим мир Среднеземья не только мысленным взором читателя, но и физическим взором зрителя? Конечно, ничего такого я не дождался, хотя вторая часть вроде как и оказалась чуть лучше первой, если можно говорить о чем-то лучшем в отношении чего-то настолько плохого. Но если даже вторая часть и была чуть лучше, то мне после ее просмотра стало только хуже. Друзья же смеялись надо мной пуще прежнего, кто-то даже сказал, что «он, пожалуй, еще помрет от горя — вот смеху-то будет», — я тогда запомнил эти слова. А что в них смешного? — чистая логика. Приобщаясь к реальности, живешь; приобщаясь к небытию, перестаешь и существовать. Я всегда подлинно жил, лишь когда читал «настоящие» книги и смотрел «настоящие» фильмы — ничего не будет странного и в том, если я умру, погрузившись в пространство фильма небытийного. Вооружившись такого рода логичными, хотя и неконструктивными мыслями, я стал ждать выхода третьей, заключительной части экранизации. Дождался кое-как, хотя жизнь, кажется, и вправду уже еле-еле теплилась во мне. Третья часть, как я смутно и предвосхищал, добила меня. Чем ближе Фродо подбирался к Ородруину, тем и я все ближе приближался к царству теней. Я буквально чувствовал, как жизнь покидает мое тело, и когда по экрану лениво поползли титры, мне показалось, что я умер, а на самом-то деле я заснул. Да, прямо в кинотеатре, при всей суматохе, которая всегда сопровождает поползновение титров, — когда включается свет, все поднимаются и продвигаются к выходу.

И снится мне, что я страшно разбогател: у меня в кармане лежит сто миллионов не то долларов, не то евро. А ведь у меня в руках до этого никогда не было больше десяти тысяч рублей. Ну ясно, голова у меня пошла немного кругом, я бросился в книжный магазин и скупил все книги, какие мне только приглянулись, — а сто миллионов как были, так и остались почти нетронутыми²¹. Тогда, подобно Остапу Бендеру в схожей ситуации, я стал тратить деньги на всякие глупости — а на что их еще и тратить? — ходил по каким-то ресторанам, покупал какие-то ненужные мне вещи, подумывал даже о том, чтобы отправиться в кругосветное путешествие на собственной яхте, — но, честно говоря, я просто не знал, что мне делать с деньгами, и все больше воспринимал их как некую обузу, которую надо поскорее сбросить со своих плеч. В самом деле, когда у тебя миллион, это еще куда ни шло, но сто миллионов — это явный перебор. И вот иду я как-то (во сне) мимо кинотеатра и вижу афишу: «Властелин колец». Меня прямо как громом поразило. Вся боль, которую я пережил в реальности, обрушилась на меня и во сне. «Вот бы, — подумал я, — нашелся человек, который бы экранизировал „Властелина колец“ по-настоящему, чтобы перечеркнуть впечатление от увиденной фальшивки. Да где же найдешь такого человека, а главное, где взять деньги на экранизацию?» Тут-то меня и озарило: ведь деньги-то у меня есть!

Тут, как это и бывает во сне и в кино, произошел скачок во времени, и вот уже оказывается, что я режиссер и снимаю «Властелина колец». Дело, как водится, идет трудно. Просмотр кандидатов на роли, поиск природы для съемок, десятки крупных, сотни средних и тысячи мелких проблем. А еще надо в бюджет уложиться. Сто мил-

²¹ «Остап каждый день считал свой миллион, и все был миллион без какой-то мелочи. Он прилагал все усилия, обедал несколько раз в день, пил коллекционные вина, раздавал непомерные чаевые, купил перстень, японскую вазу и шубу на хорьках. Шубу и вазу пришлось подарить номерному, потому что Остап не любил возиться в дороге с громоздкими вещами. Кроме того, в случае надобности он мог закупить еще множество шуб и ваз. За месяц, однако, истрачено было только шесть тысяч» (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

лионов евро-долларов, еще вчера бывшие грандиозной суммой, теперь вдруг оказались суммой едва-едва достаточной. Впрочем, и во сне я понял, почему я оказался обладателем именно ста миллионов, а не, скажем, миллиарда. Миллиард оказался бы для меня тем же самым, чем были для меня сто миллионов в начале сна, — чем-то излишним, что пришлось бы растрачивать на всякие глупости. А сто миллионов приходилось экономить и тратить лишь на то, что необходимо, а не на компьютерное моделирование всяких троллей, которые все равно выглядят до ужаса ненастоящими, или крепостей, которые все равно выглядят крепостями из компьютерной игры. Много я ломал голову над тем, как решить проблему спецэффектов, а ведь без них все равно не обойтись — или обойтись? Во всяком случае, я быстро определился с общей киноэстетикой моего «Властелина»: он будет похож на «Дерсу Узала» Куросавы. Сам Дерсу — просто идеальный хоббит, жаль, нет ему подходящего хоббита-прототипа из книги — он как бы и Бильбо, и Арагорн, и Том Бомбадил в одном образе. И то, как они (Дерсу сотоварищи) идут по тайге — именно так мне и хотелось бы, чтобы хоббиты вышагивали по Среднеземью. Чтобы все было по-настоящему, чтобы поменьше было всякого открыточного. Конечно, без чудес все равно не обойтись. Как воссоздать сказочный Лотлориен, как снять вскипевшее смрадом мрачное озеро возле Мории, как изобразить черных всадников, чтобы они не выглядели просто дядями в черных капюшонах? Думать приходилось о многом, но я не унывал, я верил, что все проблемы решаемы. И вот я очутился возле одного мрачного горного озера, которое привело меня в полный восторг, настолько оно совпадало с моим представлением о том, каким должно быть озеро из книги, когда я... проснулся.

Титры подходили к концу — оказывается, я и проспал-то всего несколько минут! Но если засыпал я уже почти развоплотившимся в призрак, то проснулся бодрым, как будто бы я и вправду режиссер, летающий из одного конца страны в другой в поисках природы для съемок. Жизнь вернулась ко мне, и я теперь точно знал, что делать. Мне нужны деньги — что миллионов евро, ну, или хоть долларов. И вот уже три месяца, как я работаю не за страх, а за совесть — и уже отложил на свой киносчет тридцать долларов (по десять в месяц). Друзья смеются надо мной, но я-то верю: начало съемок не за горами. Сто миллионов — не миллиард все-таки, добыть можно, лишь бы вера была.

Смешной читатель (М. Ю. Л.)

— Вот такой рассказ... Что скажете?

— Концовка забавная, — сказал Вася Глупов, в то время как Михаил Юрьевич сосредоточенно-задумчиво смотрел на Александра Сергеевича.

— Концовка-то забавная, но мне по прочтении было вовсе не до смеха. Я же как будто про самого себя читал. Вплоть до того, что и «Властелин колец» — одна из моих любимых книг, и экранизацию Джексона я терпеть не могу, и о том, чтобы экранизировать «Властелина» «по-настоящему» — и об этом я, помню, думал. Да только вот есть между мною и героем этого рассказа одно существенное отличие.

— У вас есть деньги.

— В том-то и дело, что и есть, и как бы и нет, то есть тогда ведь не было. Деньги были у отца. А я вдруг понял, зачем мне нужны деньги, понял, в чем состоит мое предназначение. Я должен поддерживать Культуру. Финансово и организационно. Так я обрел смысл жизни — благодаря рассказу, случайно найденному в инете. Впрочем, это мои сегодняшние мысли, а тогда я еще не мыслил так глобально, как теперь. Тогда я просто подумал, что хорошо бы было запустить свое издательство. Просто для

начала. А первым изданным мною автором должен был стать этот самый смешной читатель — М. Ю. Л. Я поклялся отыскать его и напечатать. Искал я его, искал, но так и не нашел. Что это вы на меня так странно смотрите? — спросил Томский у Михаила.

— Да вот думаю — признаваться или нет, но лучше уж, видно, сейчас признаться, а то потом смешнее выйдет.

— В чем признаваться-то?

— Мой это рассказ.

— Что-что?

— Мой рассказ, говорю. М. Ю. Л. Михаил. Юрьевич.

— Лев!

— Да.

— Черт! Вы не шутите?

— Не шучу. Вот смотрите — эта рукопись точно так же подписана.

Томский посмотрел, обратившись к последней странице рукописи. Действительно, там красовалась каллиграфически выведенная подпись: М. Ю. Л.

— А я-то был уверен, что все это стер, уничтожил, — продолжал Михаил, он же М. Ю. Л. — Вот уж не думал, что кто-то вообще читал всю эту чепуху.

— Чепуху?

— Конечно, чепуху. Это ведь так, юношеские опыты. Я тогда много такого рода пустяковых рассказов-шуток насочинял — по самым разным поводам.

— В интересном направлении работали.

— В самом что ни на есть тупиковом. Мерзко все это.

— Что именно мерзко?

— Всякое там цитирование, оммажи и прочий плагиат. Есть что сказать — говори; нечего сказать — цитируй тех, кому сказать было что. А лучше так и вовсе помалкивай.

— Сурово. Но тут вы не правы. С цитированием и интертекстуальностью все сложнее будет.

— Ничего сложного. Есть что сказать — говори сам, нечего сказать — цитируй других. Вот тут, — Михаил снова указал на свою рукопись, — тут нет ни одной так называемой цитаты. Тут есть только...

— Самое важное? — все еще насмешливо, но уже без всякого издевательства спросил Томский.

— Да, самое важное, — по-прежнему величаво-спокойно ответил Лев.

— Ладно, огорошили вы меня, конечно. М. Ю. Л.! Я даже сбился как-то. Про что речь-то шла?

— Про издательство.

— Да, так вот я и решил, что пойду к отцу и попрошу его выделить мне капитал, чтобы начать свое издательское дело. Решил и пошел...

— Хе-хе, представляю себе реакцию вашего папаши... — опять присоединился к разговору Василий Глупов.

— Представляет он... Вообще, конечно, его реакция была предсказуемой, но люди иногда самым удивительным образом самообольщаются. К тому же в последние годы — с того времени, как отец всерьез «взялся за меня» — он стал куда более выносимым в общении, почти никогда на меня не орал; видимо, мое положение «законного наследника» обязывало его относиться ко мне подобающим образом. Не могу утверждать точно — его кодекс поведения во многом так и остался для меня загадкой. В общем, мне показалось, что я могу поговорить с ним — и как сын с отцом, и как деловой человек с деловым человеком. Естественно, я ошибался, и вскоре мне пришлось столкнуться со старым злым отцом и стать свидетелем одного из его ужаснейших припадков ярости. Знаете, есть такие слова-триггеры, запускающие определенные пси-

хологические реакции. Видимо, само слово «книги» и было таким словом-триггером, делающим отца попросту невменяемым. Будь мы дома, я думаю, он бы меня и избить не постеснялся, но у меня хватило интуитивной мудрости провести разговор в офисе, так что, побесновавшись, он просто посоветовал мне выбросить все эти глупости из головы, а то он меня «уничтожит, в порошок сотрет, превратит в обоссанного бомжа» и совершит ряд еще столь же волшебных и приятных превращений.

После этого «разговора» я хотел порвать всякие отношения с отцом, но где-то через неделю мне пришлось еще раз «пообщаться» с ним — он пришел «уладить недо-разумение». Естественно, это означало, что я должен «выбросить дурь из головы» и вновь заняться «нормальным» бизнесом. Когда я ему сказал, что придерживаюсь прежних мыслей, а в его бизнесе себя не вижу, мне пришлось пережить очередной его яростный припадок, который, правда, был интересен только тем, что один к одному походил на припадок недельной давности. Хотя нет, теперь его угрозы стали более конкретными. А тут я еще в раздражении сболтнул про его гламурную пассию и маму ему припомнил. Тогда-то он и вышвырнул меня на улицу (вполне буквально), пообещав лишиться наследства и разрушить любое мое начинание. Надо сказать (еще один штришок к портрету отца), что, несмотря на несколько ударных бизнес-лет, как таковых *своих* денег у меня не было; отец применял странную методу оплаты моего труда — у меня была карточка, на ней всегда лежало десять тысяч долларов, и сколько бы я ни тратил, отец пополнял счет до десяти тысяч. При этом снимать деньги со счета мне не разрешалось — только тратить на что-нибудь. Он называл свою методу «методом заботливого отцовского контроля» — на практике, конечно, я оказался в полной от отца финансовой зависимости — несмотря на то, что мог позволить себе самый шикарный образ жизни. Так что, вылетев из бизнеса и из квартиры (отец не отказал себе в удовольствии театрально выбросить мои вещи на улицу, равно как и осуществить свою старинную фашистскую мечту — сжечь все находящиеся в моей квартире книги), я остался буквально ни с чем.

Невеселая ситуация. Думал я, думал, что теперь делать, думал-думал и не придумал ничего лучшего, как уехать к бабушке — маминой маме — в Казань. Уехал. И вот живу я себе в Казани, книжки почитываю, а тут новость о смерти отца; он умер от инфаркта — ничего особо удивительного, учитывая, что и работал, и развлекался он всегда на износ. Удивительно другое — вдруг оказалось, что я-таки наследую весь его бизнес. Нищевод превратился в миллиардера, безвестный — в знаменитость, бессильный — во всесильного. Тут-то мое воображение вовсю и развернулось, и я уже мечтал не просто об издательстве, но о создании целого, можно сказать, творческого мира — мне страстно захотелось объединить ни более ни менее как все ведущие творческие силы нашей планеты. Я и название для этой воображаемой организации-общности придумал — ГКП, что расшифровывается как «Глобальная Культурная Поддержка». Что же, для начала построив ГКП в уме, теперь я еду строить это сообщество в реальности.

После этих громких слов в купе повисла тишина. Через некоторое время Василий Глухов, посмотрев в окно, заметил:

— Мы уже в черте города. Минут через десять будем на вокзале.

Томский, в очередной раз проигнорировав Василия, обратился к Михаилу:

— Вот что, Михаил — М. Ю. Л., я забираю ваш роман. Обещаю в ближайшее время прочитать и вынести свой вердикт. Обнадеживать не хочется, ну да ведь я понимаю, каково это для автора — ждать вердикта относительно своего детища. Не знаю, может, наша встреча — чистейшая случайность, а может быть, нас свела Судьба. Мне как-то больше верится во второе.

— Вот видите — я же говорил, что рукопись найдет своего издателя. Даже и искать не пришлось.

- Ну, я ведь пока еще не обещал, что издам.
- Да, конечно. Пусть все формальности будут соблюдены. Где же мне вас найти и как узнать о судьбе рукописи?
- Ах ты, черт, придется ехать в отцовский офис. Не там бы хотелось поговорить, ну да уж... Вот адрес: Невский проспект, триста тридцать три. Приходите завтра вечером — к восьми часам. И телефон мой запишите.
- Телефона у меня нет. В Швейцарии...
- Да уж понял — вас там на всем натуральном держали — подальше от всех достижений и разложений цивилизации. Может, оно и правильно. Куда ж вы, однако, прямо сейчас-то пойдете?
- Домой. Квартира-то у меня имеется.
- Ах да. Как-то я вас совсем бездомным себе представил. Без компа, без телефона, без квартиры... Ну вот и приехали, пора прощаться.
- А со мной-то как? — напомнил о себе Василий.
- А что с тобой?
- Ну как, ведь говорили же...
- Про миллион, что ли?
- Конечно, вы думаете, я теперь о чем-нибудь другом могу думать?
- Не думаю. А миллион свой получишь, не беспокойся. Приходи ко мне вместе с Михаилом; завтра, к восьми часам вечера приходи. К тому времени, надеюсь, я уже первоочередные формальности улажу и смогу вполне распоряжаться своими средствами — командовать, так сказать, парадом.
- А может...
- Что «может»?
- Ну, что-нибудь типа расписки дадите...
- Ах ты, мелкая душонка, слову моему, значит, не веришь?
- Верю, да сомневаюсь. Сейчас вы, может, и дали бы мне миллион, сегодня вечером вам уже как-то слегка расхочется делать такие широкие жесты, а завтра и сама мысль об этом покажется вам странной. Это сплошь и рядом так бывает.
- Со мной не бывает. И вообще, как говаривал Остап Бендер: вы не в церкви, вас не обманут. Будет и миллион. С течением времени²². Засим прощайте.

И вот наша троица, прибыв из неизвестности в Петербург, вышла на перрон и растворилась в неизвестности Петербурга...

ГЛАВА ВТОРАЯ. М. Ю. Л.

2.1. Волшебный замок

Сколько помню, от меня всегда ждали чего-то великого: еще при рождении, как говорят, я не заплакал, а улыбнулся — словно бы предчувствуя, что жизнь моя будет не страданием, но праздником; не прозябанием, но — триумфом; не барахтаньем, но большим и увлекательным плаванием²³. Редко когда рождался ребенок со столь оче-

²² «— А задаток? — спросил бывший гимназист.

— Вы не в церкви, вас не обманут, — веско сказал великий комбинатор. — Будет и задаток. С течением времени» (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

²³ «Ребенка окрестили; при чем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник» (Н. В. Гоголь. «Шинель»).

видно выдающимися способностями, развитыми столь гармонично и при этом не превращающими ребенка в белую ворону. Нет, я был вполне нормальным, и да — я был безумно-великолепен во всем, за что бы ни взялся. Не было предмета в школе, по которому бы я не получил высшего балла, и при этом не было такого предмета, который не был бы мне реально интересен. Я всегда получал удовольствие от учебы — мое неудовольствие всегда вызывал лишь тот черепаший шаг, которым учение продвигалось вперед. Я хотел знать и уметь все, и я хотел узнать и суметь все немедленно. Я равнялся только на лучших; в моей комнате висели портреты Леонардо да Винчи, Наполеона, Дарвина, Платона, Аристотеля, Шекспира, Толстого, Ньютона и Эйнштейна. Однажды, помню, я сильно разозлил учительницу литературы, назвав Бернарда Шоу «второстепенным драматургом, все еще пользующимся некоторой известностью до нынешнего времени». Но действительно, даже Уайльд казался мне мелковатым для того, чтобы войти в пантеон избранных из избранных первостепенных единиц, достойных висеть портретами на моей стене, — что уж там говорить о каком-то Шоу? Подобные сентенции, как вы понимаете, немало «веселили» моих учителей... Взяв пример с Наполеона, я старался спать не более четырех часов в сутки; одно время я попытался также взять пример с Леонардо да Винчи и спать по пятнадцать минут каждые четыре часа (и тогда бы я тратил на сон не более двух часов в день!), но такой график, увы, мне не подошел. Ложился я всегда в два часа ночи, вставал в шесть утра. Всякий мой день был наперед распisan по минутам. Приведу примерный распорядок своего среднестатистического дня:

Подъем: 6 часов утра. До 6.30 — завтрак (повторяю про себя кое-что из заученного вчера).

С 6.30 до 8.30 — Фихтенгольц. «Курс дифференциального и интегрального исчисления».

С 8.30 до 10. Платон. Чтение.

С 10 до 12 пишу сочинение на тему «Образ Спарты в сочинениях древнегреческих философов».

С 12 до часу — прогулка. Повторяю Фихтенгольца (первые полчаса) и Платона (вторые полчаса).

С 1 до 2 — обед (расслабляю мозг, общение с родителями).

С 2 до 4 — Фихтенгольц.

С 4 до 6 — Платон.

С 6 до 7 — ужин, общение.

С 7 до 9 — читаю «Войну и мир».

С 9 до 10 — общаюсь с родителями, обсуждаем все происшествя дня.

С 10 до 11 — урок английского языка (с мамой).

С 11 до часу — читаю английский текст в оригинале.

С 1 до 2 — «Война и мир».

Двумя моими любимыми школьными предметами были литература и математика. Я любил читать, и я любил решать задачи. Меня всегда завораживала неумолимость математической логики. Доказывая теорему, человек приобщается к некоему абсолютно неизблемому ПОРЯДКУ. Меня это всегда успокаивало и даже больше чем успокаивало — меня это просветляло. Ну и, конечно, доказательство каждой новой теоремы было приятно мне с точки зрения утверждения своего превосходства над окружающими — например, я уже в школе проштудировал весь двухтомник «Дифференциального и интегрального исчисления» Фихтенгольца, доказывая теоремы Вейерштрасса в то время, как мои однокашники еще постигали лишь самые азы. Вы можете подумать, что я был довольно высокомерным мальчиком и юношей; что ж, это правда — трудно

не быть высокомерным, когда ясно видишь, что ты выше всех на две головы. Но повторюсь, при этом я не был одиноким ботаником, погруженным в книжки. Дело в том, что у меня имелся талант, который, в отличие от математического таланта, вызывающего уважение, но и отпугивающего, притягивал ко мне всех окружающих. Я был мастером рассказа, а следовательно, и центром любой компании²⁴. Я не знаю, откуда брались все эти рассказы — они никак не были связаны ни с тем, что я сам когда-либо пережил, ни с чем-то, о чем я слышал. Нет, я просто придумывал их и рассказывал, упиваясь звуком своего мелодичного голоса и реакцией слушателей, которые сидели, зачарованно внимая каждому моему слову.

Естественно, что я очень любил художественную литературу, но тут была одна странность. Если математические книги всегда успокаивали меня, то художественные книги, напротив, всегда пробуждали во мне некое беспокойство. Очень долго я не мог разобраться — в чем тут дело, но однажды я вдруг понял, что просто не в состоянии понять, как писатель пишет книгу. Я понял, что чего-то не могу понять! Логика математики была мне предельно понятна, а вот логика создания художественного текста оставалась для меня загадкой. Вы спросите: «А как же мои рассказы?» — ведь я не испытывал ни малейших проблем, выдумывая историю за историей. Но в этом-то и проблема. Я чувствовал, что рассказываю как бы «не взаправду» и что мои рассказы никогда не станут настоящей литературой. Но это, повторюсь, было очень странно. С одной стороны, мне казалось, что нет ничего проще, чем сесть и написать лучшую книгу всех времен, а с другой — я понимал, что ничегошеньки у меня не выйдет. У МЕНЯ — и не выйдет!!! Я не мог смириться с данной ситуацией, но и ничего не мог с ней поделать. Так ушло время, которое я теперь называю «временем полноты», а на смену ему пришло «время тошноты».

Но это я забегаю сильно вперед, а пока что самое время рассказать о моих родителях, без которых я ни в коем случае не мог бы стать и приблизительно тем, кем становился, то есть разносторонне развитой личностью.

Что я могу сказать о них? Они были идеальными родителями. Вы можете подумать, что я их идеализирую, но это неправда. Правда — то, что они были идеальными, и неправда — то, что я их идеализирую. В жизни я видел от родителей только внимание и поддержку. Они не баловали меня, но и никогда ни в чем не отказывали. Как это совмещается? А очень просто. Представьте себе, что родители покупают любимому чаду на день рождения компьютерную игру, в которую тот потом и режется круглые сутки. Это называется «баловство» и ведет к деградации «любимого сыночка». А теперь представьте, что ваш ребенок хочет посетить Лувр, чтобы посмотреть... вообще на все, что может предложить этот музей, да и по самому Парижу прогуляться заодно. И вот уже куплен билет, и вся семья отправляется в путешествие. А потом мы еще едем в Ватикан, так как мне совершенно необходимо посмотреть «Афинскую школу» Рафаэля. Совсем другая картина, не правда ли? Чтобы потворство желаниям не превратилось в баловство, надо сначала научить ребенка желать того, что следует желать. Папа так и говорил мне: «*Правильная форма желания — вот наивысшее из искусств*». Милые родители...

Конечно, были у них и недостатки: так, отец, как я сейчас понимаю, временами был высокомерен до снобизма, что хорошо видно из памятного мне диалога, случившегося как раз при посещении нами Лувра.

²⁴ Здесь профессор Толль, автор книги «Вопиющие ошибки и неточности, найденные мною в „М. Ю. Л.“», восклицает: «Как Михаил мог быть „центром любой компании“, если он круглые сутки напролет читал Фихтенгольца и Платона? Когда он вообще в школу ходил? Да и много ли вы видели „центров компании“, рассказывающих какие-то художественные истории?»

Семейный диалог: Тайна Джоконды

— Ха, посмотрите-ка на этих остолопов. Они явились сюда со всех концов света с единственной целью — поглазеть на «Джоконду». Неважно, что из-за сутолоки и отдаленного расположения ее толком и не разглядишь. Нет, им надо поставить галочку: «Ездил в Париж, ходил в Лувр, видел Джоконду». А еще не забыть заснять ее на свой телефончик. Неважно, что таких фоточек, наверное, и так уже с миллиард сделано, надо сделать миллиард первую. И выложить в свой... как там называется эта штука, сынок?

— Инстаграм?

— Вот-вот. Инстаграм. А у тебя, случайно, нет своего инстаграма?

— Инстаграма, пап. Нет, нету. Но несколько аккаунтов в соцсетях у меня имеется.

— Вот как... Любопытно.

— Я тебе потом покажу.

— Не надо. Каждый вьюноша должен иметь пространство, недоступное его родителям.

— Что верно для юношей вообще, может быть неверно для конкретного юноши. Я как-то не рвусь иметь секреты — ни от тебя, ни от мамы.

— Что свидетельствует о наших с мамой высочайших моральных качествах. Ха-ха.

Тут в разговор вступила и мама, одернув развеселившегося супруга:

— Ладно, угомонись уже. Сначала оскорбил всех присутствующих в музее, а теперь еще философствовать принялся.

— Я всегда философствую — это единственно доступный мне способ изложения мыслей. Да и единственно приемлемый способ вообще. Кто мы, когда не философствуем? Никто. А что до оскорблений, то они сами виноваты. Ну посмотри на них — разве это не смешно? Разве не нелепо?

— По-моему, нет. Приехали люди в Лувр, хотят увидеть Джоконду. Ничего нелепого я в этом не вижу.

— Ну, конечно. А вот рядом расположилась картина, почти не привлекающая внимания, по-видимому, какого-то неизвестного художника. На ней изображены две женщины, ребенок и агнец. Одна из женщин протянула руки к ребенку, другая же взирает на все происходящее как бы с небес, да и само лицо у нее поистине небесное. Как же называется эта картина? Ах, неужели это «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом»? Ах, неужели автор — все тот же Леонардо да Винчи! Ну надо же! Да не может этого быть! Где же ажиотаж? Или, может, картина недостаточно хороша? Или небесный лик святой Анны недостаточно небесен? Нет, дело в другом: нам не сказали, что надо восхищаться *этой* картиной, нам сказали, что надо восхищаться *той*. Вот мы и восхищаемся.

— «Остапа понесло».

— Понесло — не пронесло.

— Никогда я не понимала этих твоих шуточек...

— Я и сам-то понимаю их где-то одну через две. И то, если внимательно прислушиваюсь²⁵.

²⁵ «Лорд Горинг. Если бы люди меньше сочувствовали друг другу, меньше было бы неприятностей. Лорд Кавершем (*направляясь в курительную*). Это парадокс, сэр. Ненавижу парадоксы.

Лорд Горинг. Я тоже, — отец. В наше время что ни человек, то парадокс. Это очень скучно. Всех насквозь видно как стеклышко.

Лорд Кавершем (*оборачивается и смотрит на сына из-под нависших бровей*). Вы всегда понимаете то, что говорите?

Лорд Горинг (*после некоторого колебания*). Да, отец. Если внимательно слушаю.

Лорд Кавершем (*возмущенно*). Если внимательно слушаете!.. Ха! Нахальный щенок!> (Оскар Уайльд. «Идеальный муж»).

— Считай, что к этой шутке я не прислушивалась. Кстати, а не ты ли всегда говорил, что именно «Джоконда» — вершина творчества Леонардо? Ты там еще какую-то чуть ли не целую теорию на этот счет вывел.

— Да, говорил, и сейчас повторю. Есть что-то удивительное, даже поразительное в том, как время все расставляет по своим местам. Поразительное, учитывая, что люди, вообще-то, судят вкривь и вкось — но в конце концов именно величайшее почитается величайшим. И именно «Джоконда», являющаяся вершиной творчества Леонардо, общепризнанно и считается таковой вершиной.

— Тогда выходит, что все эти люди, глазеющие, как ты выразился, на «Джоконду», правы в том, что они хотят поглазеть именно на «Джоконду», раз уж это вершина творчества Леонардо?

— Нет, не правы. Зрители всегда не правы — даже когда они аплодируют тому, кто заслуживает аплодисментов. Вот и тут — они явились поглазеть на Джоконду и загордились ее своими спинами. Чрезвычайно символично. В том-то и парадокс — зрители всегда ошибаются, но истина Прекрасного в конечном счете всегда торжествует.

— Кто в конечном счете всегда торжествует — так это ты! (в скобках замечу, что папа после произнесения тех или иных своих сентенций действительно нередко выглядел как человек, который только что подвел итог всей мудрости мира²⁶).

— Не без того. Кстати, сынок, а как ты думаешь — лицо святой Анны ведь очень похоже на лицо Иоанна Крестителя кисти того же Леонардо?

— Несомненно.

— А вот похоже ли оно на лицо Джоконды?

— Сходство есть, но я бы сказал, что лицо Джоконды особенное, ни на какое другое не похожее.

— Ты так думаешь? А я слышал мнение весьма уважаемых искусствоведов, что все эти три лица — Джоконда, Иоанн Креститель, святая Анна — совершенно одно и то же лицо.

— Хм... Я бы все же так не сказал. Знаешь, мне кажется...

— Так что тебе кажется?

— Не хочется разбрасываться скороспелыми суждениями...

— Ты ведь не на экзамене, сынок. Никто не посмеется над тобой и не ударит тебя указкой по руке. Да и я уверен, что раз ты заявил о своем суждении — оно уже достаточно вызрело.

— Нет, недостаточно. Я просто вот о чем подумал: лицо святой Анны — это как бы идеал, как он видится Леонардо. Я бы прибавил — абстрактный идеал или идеал сам по себе. И этот идеал, он все время Леонардо преследует, поэтому в той или иной форме он и заявляет о себе на многих его холстах. Но повторюсь: сама святая Анна — это идеал именно в чистой его форме. А вот Джоконда — она куда более земная, она — живая женщина. То есть мы видим все те же идеальные черты, но воплощенные в реальной женщине. Поэтому, возможно, именно эта картина и стала вершиной творчества Леонардо — потому что здесь воплотилась вся чистота идеала, но в его соприкосновении с реальностью. Абстрактное Прекрасное стало реально Прекрасным. Небеса сошли на Землю.

— Прекрасно сказано, сынок! Реально прекрасно! Я просто на седьмом небе от счастья!

...

Такого рода беседы случались у нас во время различных экскурсий по музеям мира. Как видите, отец не стеснялся всячески хвалить и даже захваливать меня — мать ему

²⁶ «And Lord Henry struck a light on a dainty silver case and began to smoke a cigarette with a self-conscious and satisfied air, as if he had summed up the world in a phrase» (Oscar Wilde. «The picture of Dorian Gray»).

в этом слишком сильно не препятствовала, поэтому я рос уверенным в своих силах и даже несколько самоуверенным молодым человеком. Впрочем, стоило мне хотя бы немного снизить требования к себе, как отец из сказки превращался в отца из кошмаров. Правда, он ни разу не поднял на меня руку. Просто он становился отчужденно-холодным — и этого мне было вполне достаточно, чтобы снова начать «расти над собой». Мать любила меня более по-матерински — она не раз говорила, что ей все равно, кем я стану, лишь бы... Впрочем, лучше я опять припомню один семейный диалог.

Семейный диалог: «Кем станет наш сын, когда вырастет»

— Мне все равно, кем ты станешь, лишь бы ты стал хорошим человеком... и не стал философом.

— Ба, — вмешался в разговор отец. — Чем плохи философы?

— При слове «философ» я сразу представляю себе кого-нибудь вроде Канта или Ницше. Бррр.

— Но Кант совершенно не похож на Ницше.

— В чем-то до странности похож. Все философы слишком не от мира сего, да и с головой у них очевидно не все в порядке. Канта, сколько я его ни читала — все время у меня только голова начинала раскалываться. Его чистый разум — это какое-то чистое безумие. А Ницше так прямо клинически сумасшедший.

— Попробуй-ка поищи Истину — у кого хочешь ум зайдет за разум или, выражаясь по-другому: спятишь, когда вокруг тебя сплошное безумие, а ты при этом ищешь Истину. Но кем ты все-таки хотела, чтобы стал наш сын?

— Ну, не знаю, может быть, поэтом...

— Поэтом? Да все поэты алкоголики и женолюбы, а если взять сегодняшний аналог поэтов — рок-звезд, так они еще и наркоманы поголовно.

— Твоя правда. В общем, кем бы ты ни захотел стать, сынок, помни, что мы тебя поддержим.

— Да, сынок, помни: каким бы наркоманом ты ни захотел стать, мы всегда найдем тебе лучшие наркотики.

— Не слушай отца, сын. Он, как обычно, завирается, потому что плохо видит границу, отделяющую то, что можно говорить, от того, что нельзя.

— И кто же проводит эту границу?

— Совесть, бессовестный ты мой.

— Ах, совесть, то есть наш внутренний Кант. А ты еще говоришь, что плохо его поняла.

— Не надо быть Кантом, чтобы правильно отделять должное от недолжного.

— Кант прямо так и говорит. Могу даже точно сказать где²⁷.

— Только не сейчас, пожалуйста... У меня и от тебя уже голова разболелась, не хватало еще и Канта.

— Ну ничего, вот станет наш сын философом и примирит тебя с философией.

— Лишь бы стал хорошим человеком.

²⁷ «Таким образом, я не нуждаюсь в какой-нибудь глубокой проницательности, чтобы знать, как мне поступать, дабы мое воление было нравственно добрым. Не сведущий в обычном ходе вещей, не приспособленный ко всем происходящим в мире событиям, я лишь спрашиваю себя: можешь ли ты желать, чтобы твоя максима была всеобщим законом?» Или еще: «...для того, чтобы знать, как поступать, чтобы быть честными и добрыми и даже мудрыми и добродетельными, мы не нуждаемся ни в какой науке и философии. Уже заранее можно было предположить, что знание того, что каждому человеку надлежит делать и, стало быть, уметь, — это дело также каждого, даже самого простого, человека» (Иммануил Кант. «Основы метафизики нравственности»).

- Хороший философ — лучше, чем хороший человек.
- Нет никого лучше хорошего человека.

Был ли я хорошим человеком в период своего взросления? Не уверен. Нет, несмотря на некоторое высокомерие, я не слишком задавался (мать бы этого не потерпела), хотя, может, со стороны казалось, что и слишком. Но я никогда никого не травил, никогда ни над кем не издевался. С другой стороны, я никому особо и не помогал. Я был очень от всех отстранен, что и неудивительно, настолько условия моей жизни отличались от условий жизни всех моих знакомых сверстников. Да, «отстраненный» — вот самое точное слово. Отстраненный до жестокости. Нагляднее всего жестокость моей отстраненности проявилась в девяностые годы, когда почва реальности поплыла под ногами у абсолютного большинства. А вот под моими ногами — нет. В моей жизни ничего не изменилось — тот волшебный замок, в котором я жил, остался все тем же волшебным замком. Да, «Волшебный замок» — так папа в шутку называл нашу просторную семикомнатную квартиру, в которой, помимо необходимых гостиной, детской и спальни, были еще и излишние с точки зрения необходимости столовая, «спортивная», библиотека и рабочий кабинет отца. Сегодня, конечно, роскошными апартаментами уже никого не удивишь, но раньше-то они были привилегией партийной и в меньшей степени артистической элиты. Впрочем, «роскошные» — неточное слово. Папа всегда настаивал на том, что ничего не только роскошного, но и маломальски лишнего у нас нет, а есть только именно самое необходимое, и вообще, семи комнат нам еще и мало, и хорошо было бы иметь восьмую²⁸ — комнату-обсерваторию, откуда мы могли бы созерцать в телескоп звездное небо. Разве это не самая настоящая из необходимостей — ежедневно созерцать Вселенную?

Итак, папа называл нашу квартиру «Волшебным замком» — в шутку, но, по сути, он был прав. Тот отрезок жизни мне и сейчас кажется не вполне реальным, но ведь я и жил скорее в сказке, чем в реальности. Невзгоды внешней жизни чудесным образом обходили нас стороной. Моя собственная жизнь была предельно насыщена и увлекательна. Стоило мне чего-нибудь пожелать, и желание мое тут же исполнялось. Сказка.

Но вернусь в девяностые. Помню, однажды я шел по улице и увидел длиннющую очередь в магазин. Стоит отметить, что я нечасто обращал внимание на очереди, можно сказать, вообще их не замечал — очередь была для меня чем-то вроде фона, причем фона чаще всего нежелательно отвлекающего. Представьте себе, что вы идете и повторяете про себя концепцию судьбы в «Государстве» Платона, а тут — очередь. Реальность прекрасных идей Платона была для меня куда реальнее людского раздражи-

²⁸ «— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако, это здорово» (М. А. Булгаков. «Собачье сердце»).

тельного массива. И главное, я не мог понять: зачем они стоят («зачем» в обоих смыслах: и «зачем», и «за чем»), чего раздражаются? И вот однажды я решил все же спросить и, преодолев некоторую брезгливость, обратился к одному из стоящих:

— Не скажете, а за чем тут очередь?

— За сметаной.

— И сколько же вам приходится ждать?

Очередник посмотрел на меня с удивлением — должно быть, его удивила и суть вопроса, и обращение на «вы».

— Сколько ждать? Да еще часа полтора, как минимум.

— А сколько вы уже тут стоите?

— Часа два стою.

— То есть вы уже простояли два часа и будете стоять еще два — только чтобы сметаны купить?

Тут очередник посмотрел на меня уже с раздражением.

— А ты знаешь, где можно быстрее отовариться? Или ты из этих — у которых всегда все есть?

Почувствовав в голосе очередника враждебность, я поспешил уйти. И да, я был «из этих» — и даже не задумывался об этом. У меня все было, и это было естественно. У других многого не было, и это было странно. Придя домой, я захотел пересказать «происшествие со сметаной» матери — в шутливых отцовских тонах, — но шутки не получилось.

— Мам, представляешь, я сегодня видел вот такую-ую очередь в магазин — угадай за чем?

— За чем же?

— За сметаной! Представляешь, какие остолопы! Стоять часами — за сметаной! Я бы и пяти минут не выстоял. Очень нужна эта сметана! А они — стоят. Остолопы.

Тут мама реально разозлилась — уверен, что она и ударила бы меня, если бы это только было для нее возможным. Но не умея ударить меня физически, она постаралась побольнее ударить меня словом:

— Слушай, сын, если ты еще раз оскорбишь людей, которые стоят в очередях, потому что у них нет буквально самого необходимого, то я перестану считать себя твоей матерью. Ты понял? Ты понял меня?

Поначалу я был так шокирован резкостью ее слов, что не понял. Но и потом я не очень понял. Нет, я понял, что сказал что-то такое, чего никак нельзя было говорить, но в чем я не прав — этого я так тогда и не понял. Итогом разговора стало лишь то, что с этих пор я перестал обращать на очереди всякое внимание, стараясь попросту обходить их — хотя, учитывая количество очередей, это было и непросто.

Позже, вечером того же дня, когда состоялся наш разговор, мать попросила меня перечитать вслух сказку Уайльда «Молодой король». Надеюсь, вы помните ее. Молодой, одержимый идеей Прекрасного король требует, чтобы ему доставали самые красивые драгоценные камни, самые роскошные одежды, чтобы взор его услаждали самые красивые картины. Но однажды ему снится сон, и он видит, что его праздная роскошь покупается ценой страдания простых людей. Король прозревает. Когда я перечитал сказку, мать спросила у меня:

— Надеюсь, сынок, что ты никогда не превратишься в молодого короля из начала сказки?

— Но, мам, разве я когда-нибудь любил драгоценности или роскошь?

— Нет.

— Разве у меня есть рабы?

- Нет.
- Разве хоть один день своей жизни я провел в праздности?
- Нет.
- Но почему тогда ты спрашиваешь?
- Потому что я замечаю, что ты иногда презрительно смотришь на людей. Но если твое положение высоко, это не значит, что нужно смотреть на людей свысока. Запомни это.

Я обещал запомнить, хотя, повторюсь, по сути, ее слова прошли мимо меня. Я весь отдавался самосовершенствованию — что мне за дело до других? То есть они ведь тоже могут совершенствоваться, а если не могут, значит, пусть будут настойчивее. Даже их гипотетические страдания и неустроенность их жизни я был склонен приписывать преимущественно лени. В общем, они сами виноваты. И уж, конечно, не я виноват. Я не виноват, что счастлив — свое счастье я честно покупаю ежедневным трудом совершенствования своих способностей. И уж, конечно, я бы не смог совершенствоваться, если бы должен был ежедневно по многу часов стоять в очереди за сметаной. Сметана! Нельзя, что ли, без сметаны обойтись? Остолопы! Как видите, в итоге я возвращался к исходной позиции. С этого времени я избегал скорби и страданий, каковы бы они ни были. И то и другое было мне ненавистно. Я решил приложить все усилия, чтобы не замечать их — то есть видеть в них лишь проявление несовершенства. Они просто не входили в мою жизненную схему²⁹.

Правда, и тут мать заронила некоторые сомнения относительно моей схемы триумфального самосовершенствования; в одном из наших разговоров она указала на различие между самосовершенствованием и стремлением к совершенству.

- Мам, а чем стремление к совершенству отличается от самосовершенствования?
- О, это не так трудно объяснить, хотя и не очень просто уяснить. Я расскажу тебе одну историю, из которой все должно стать ясным.

История о совершенной скульптуре

Жил на свете скульптор, отличающийся поразительно рельефной красотой, так что и звали его не иначе как Бьюти. Под стать ему были и его скульптуры — все красавицы и красавцы, но ни одна из его скульптур не могла даже и близко приблизиться к настоящей Красоте, воплощаемой самим Бьюти. Однажды друг скульптора сказал ему:

- Возьми в натурщики самого себя, и я уверен, что ты изваяешь величайшую скульптуру в мире.

Совет показался скульптору дельным, и он решил превратиться в натурщика для самого себя. Он с энтузиазмом принялся за новую работу, но вскоре заметил, что кожу его покрыла какая-то противная, без конца зудящая сыпь. Ну, сыпь и сыпь. Он отложил стек в сторону, прошел курс лечения, сыпь и прошла. Бьюти снова взялся за работу — работа шла хорошо, так что уже начали просматриваться и контуры будущей прекрасной скульптуры, но тут он вдруг совершенно случайно угодил в уличную драку, которая сложилась для него крайне неудачно, так что его прекрасное лицо покрылось сплошь синяками и ссадинами. Бьюти очень переживал и опять какое-то время не работал, а лишь с сожалением рассматривал в зеркале свое изуродованное лицо. Однако раны зажили, и он снова взялся за работу. Скульптура становилась все красивее, но тут он снова подвергся нашествию непонятной кожной болезни, а потом, возвращаясь от врача, снова подрался, так что и лицо его опять было изуродовано. «Что ж за невезение такое? — в отчаянии спросил он неведомо у кого. — С тех пор, как я взял-

²⁹ Начиная со слов «Я избегал скорби и страданий...» — цитата из тюремной исповеди Оскара Уайльда.

ся за эту скульптуру, меня постоянно преследуют неудачи. Такими темпами я скоро превращусь в урда». И вдруг неведомо кто спросил у него: «Но ты ведь реально хочешь изваять нечто Прекрасное, причем взяв за основу собственную красоту?» — «Да», — ответил Бьюти. «Тогда не удивляйся тому, что происходит. Запомни — чем прекраснее будет становиться скульптура, тем уродливее будешь становиться ты сам. Скоро и сыпь на коже станет постоянным твоим спутником, и шрамы на лице уже не заживут, и произойдет еще много всяких неприятностей; ведь настоящих неприятностей ты еще не узнал, как не приблизился еще и к настоящей Красоте. Так что выбери, где Ей (Красоте) жить — в тебе самом или в образе Прекрасного». И опечалился Бьюти и стал думать: стоит ли потеря его собственной красоты воплощению Прекрасного в скульптуре? Вот, по сути, он и думал, что важнее: стремление к совершенству или самосовершенствование.

— Я уже догадался, куда ты клонишь. И до чего же в итоге додумался Бьюти?

— Не знаю. А знаю я лишь то, что эта история имеет и вполне реальные основания. Вспомни о Микеланджело во время росписи потолка Сикстинской капеллы. Он работал в очень неудобной позе, по его собственным словам:

Живот подполз вплотную к подбородку,
Задралась к небу борода. Затылок
Прилип к спине, а на лицо от кисти
За каплей капля краски сверху льются
И в пеструю его палитру превращают.
В живот воткнулись бедра, зад свисает
Между ногами, глаз шагов не видит.
Натянута вся спереди, а сзади
Собралась в складки кожа. От сгибания
Я в лук кривой сирийский обратился.

В общем, чем прекраснее становился потолок, тем непригляднее становился сам Микеланджело. Если совершить небольшой подлог и заменить потолок Сикстинской капеллы на статую Давида, то получится полная аналогия с рассказанной мною историей: Давид становится прекрасным, а сам Микеланджело теряет здоровье и красоту.

— Ну, Микеланджело никогда и не был красавцем. А вот Леонардо, говорят, был очень красив — и оставался таковым до самой старости. Что на это скажешь?

— А ты видел автопортрет Леонардо в старости — так называемый туринский автопортрет?

— Конечно.

— Опиши человека, которого ты видишь на портрете.

— Я вижу мудрого старца; одного из величайших гениев всех времен.

— Да? А я почему-то всегда вижу усталого, разочарованного, можно сказать, разбитого жизнью человека.

— Никогда бы не подумал... Давай посмотрим прямо сейчас, — альбом с картинами Леонардо у меня всегда был под рукой. — Да нет, мам, ну что ты придумываешь. Посмотри, какое прекрасное, возвышенное, одухотворенное лицо!

— Усталое, разочарованное. Посмотри на эти загнутые книзу уголки губ, на эти глаза измученные.

Так мы тогда и не сошлись — кого же мы видим на портрете? Но слова матери внесли некоторое смятение в мою душу, и с того времени я действительно видел то мудро-одухотворенное, то измученно-разочарованное лицо. Много-много раз я всма-

тривался в Леонардо, пытаюсь угадать — каков же он на самом деле, но разгадка все время ускользала от меня.

А пока что я шел по жизни своим отстраненно-возвышенным путем. Смотря на небо, не замечая окружающих. Впрочем, один раз, еще в школе, я попытался вмешаться в окружающие меня дела, — сыграть в благородство, так сказать, хотя слово «сыграть» и не совсем корректно, ведь я был вполне искренен. Я вполне искренне поддался влиянию мамы, а если главной отцовской заповедью было: «Создай что-нибудь», то главная заповедь мамы звучала по-другому: «Помоги кому-нибудь». Я и решил помочь.

Учился у нас в классе мой тезка — некто Миша по прозвищу «Мешок». Прозвище говорило само за себя: парень был безразмерно толст и, как большинство толстяков, страдал от недоброжелательного внимания более худощавых сверстников. Я в целом тоже не слишком одобрительно отношусь к толстякам — уж элементарную форму в абсолютном большинстве случаев поддерживать можно. Кто не может — просто ленится. Ну, ленится — получает по заслугам, значит. Но — «по заслугам», в том смысле, что толстяк сам показывает миру свою неряшливость (и подготавливает себе проблемы со здоровьем), а не в том, что надо толстяка задирать. Вообще, задирает всегда стая, а я на стороне одиночек; к тому же стая не любит не только физически увечных (нестандартных), но и интеллектуально хоть сколько-нибудь серьезно продвинутых. Интеллект для стаи — такое же уродство. Жир ума, так сказать.

Так вот, Миша-Мешок. Он всегда ходил с книжкой в руке (с книжками, и менялись они довольно часто, видать, лихо он их проглатывал); один раз я глянул, что за книга: какой-то глупый современный детективчик. Я было совсем махнул на Мишу рукой, но, глянув в другой раз, увидел, что он поглощен чтением Сэлинджера, а потом я поймал его и за «Героем нашего времени», причем по программе «Герой» уже давно был пройденным материалом, — а для большинства нормальных (как физически, так и интеллектуально) школьников это означает только одно: о «Герое» можно забыть (жаль, не так это просто, больно основательно всяких печориных в голову вбивают) и не вспоминать (это намного проще). И все-то время он читал — и чушь всякую, и хорошие книги. Читал он, читал, никого не трогал, а вот его трогали. И один раз что-то уж больно на него надела парочка записных задира, а я взял да и вступился за тезку. Поддался импульсу. Заступничество оказалось эффективным: задиры отстали, а Миша-Мешок проникся ко мне щенячьей благодарностью. Вроде как друзьями мы стали. Во всяком случае, Миша называл меня не иначе как другом, я же скорее воспринимал его как благодатный материал — для совершенствования имеющихся, но совершенно неразвитых способностей. Мише все хотелось со мной, как он говорил, «просто пообщаться», я же настаивал на рабочей основе наших взаимоотношений. Хочешь со мной поговорить? Прекрасно. «Героя нашего времени» прочитал? Напиши на него рецензию, вот и будет о чем поговорить. Я вообще всерьез занялся кругом чтения Мешка, борясь с его привычкой к бессистемному чтению и настаивая, чтобы все прочитанное было еще и тщательно им осмыслено. Хотел я его и к философии приобщить, но добросовестно попотев над Кантом дня три, Мешок со смущенной улыбкой сказал: «Нет, лучше я все же художественную литературу читать буду»³⁰. Лучше так лучше — то есть не лучше, конечно, но что поделаешь...

³⁰ «Впрочем нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он

Странная вещь дружба — то, что называют дружбой. По моим наблюдениям, дружба и любовь — самые эффективные способы слить время в унитаз³¹. Дружба — эффективнейший способ для сливания времени однополыми партнерами, любовь — разнополыми (там, где однополая любовь общественно не цензурируется, приведенное различие можно не учитывать, но Россия в этом смысле остается достаточно консервативной страной). И все ради — Общения; все ради того, чтобы «просто пообщаться», что в случае дружбы чаще всего подразумевает совместное распитие спиртных напитков, а в случае любви — взаимное смотрение друг на друга умиленно-затуманенными глазами. Бессмыслица. Миша тоже хотел втянуть меня в эту бессмыслицу — без распития спиртных напитков, но зато с умиленно-затуманенным взглядом.

«Просто пообщаться». И все-то людям хочется «просто пообщаться», «просто погулять», «просто посидеть» — в общем, попросту поотлынивать от всякого серьезного занятия, требующего включения мозгов. Помню, как однажды мы «просто гуляли», а Мешок мне часто докучал фразами типа: «А нельзя ли нам просто погулять?» Я его спрашивал: «А как это — просто?», а он отвечал: «Ну просто, как люди гуляют». Я не знал, как гуляют люди, я привык во время прогулки что-нибудь про себя повторять, о чем-нибудь думать. «Вот именно, — говорил Мешок. — Ты самых простых вещей не знаешь. Впрочем, и я — тоже. Мне тоже раньше не с кем гулять было, но ведь теперь мы друзья. Можно и просто погулять, пообщаться». Пошли мы «просто гулять» — мне даже самому интересно стало — как это выйдет, как это мы общаться начнем. Минут десять идем, бессмысленно по сторонам смотрим. «О чем задумался?» — спросил у меня Мешок. «О том, что десять минут даром пропали», — ответил я. На этом «просто прогулка» и закончилась. Не понимаю я людей: ну что за удовольствие такое — просто гулять? Не понимаю. Очевидно и заведомо пустая трата времени³². «Рецензию на „Героя...“ написал?» — спросил я Мешка на одиннадцатой минуте похода. Он тяжело вздохнул... Да, рецензии...

С рецензиями все шло тоже не слишком гладко. Не хотел он рецензии писать — мысль о рецензии, мол, отравляет ему, как он ее называл, беззаботность процесса чтения. «Беззаботность процесса чтения» — запомнил я это словосочетание. Оно, ко-

вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: „нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь“. С тех пор оставили его навсегда переписывать» (Н. В. Гоголь. «Шинель»).

³¹ Здесь профессор Толь, автор книги «Вопиющие ошибки и неточности, найденные мною в „М. Ю. Л.“», иронизирует: «У автора явное пристрастие к использованию этого фантастически „содержательного“ речевого оборота — „спустить (или — слить) в унитаз“ — раньше, если вы не забыли (надеюсь — забыли), его использовал Томский. Невольно напрашивается вопрос: а не стоит ли слить в унитаз саму эту книгу? И конечно, стоит. По-хорошему это стоило сделать автору — теперь же это приходится делать читателям».

³² «— Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрием Викторовичем.

— Не люблю, — сказал Князев. — Но посижу с вами на берегу.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев, — около сорока. — Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками... Сказал снисходительно:

— Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых, — отбил Князев эту нелепую попытку учить его, — и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет, — посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об «этих мероприятиях», а о целесообразных, — подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно. — Улавливаете разницу?» (В. М. Шукшин. «Штрихи к портрету (Некоторые конкретные мысли И. И. Князева, человека и гражданина)»).

нечно... да ведь писатель-то книгу писал не для того, чтобы у читателя забот не было, но, напротив, именно для того, чтобы читателя озаботить. Так что я давил на Мешка, Мешок же, как мог, отлынивал от своих обязанностей. Наконец однажды он не вытерпел и высказал мне все в нем накипевшее. Я, мол, и тиран, и деспот, и диктатор (мои просьбы понятнейно уточнить, чем тиран отличается от диктатора, а диктатор от деспота, остались неслышанными), и вообще ничем не лучше тех, кто ранее его задирал. Обыкновенная история — люди не видят различия между ножом, их ранящим, и ножом целебным. Они лишь чувствуют, что им больно, — и все.

Так что пришлось мне с Мешком расстаться (а он хотя и высказал мне в лицо все свое негодование, но уже через день вновь радостным щенком прыгал около моих ног, но я это неразумное прыганье пресек и резонно сказал, что раз уж я ему настолько в тягость, то лучше нам идти каждому своей дорогой) — на него потом несколько месяцев больно смотреть было. Вроде бы от тирании избавился — так радуйся, но нет, я его предал вроде как; предал нашу «дружбу». В общем, случай с Мешком лишь утвердил меня в желании, точнее, в нежелании вмешиваться в текущие события и смешиваться с окружающими меня людьми.

Есть вещи непростительные. Я не могу спокойно видеть, как люди пренебрегают своими способностями — во имя «просто прогулок» и прочих бессмысленных глупостей. Мне почти физически больно становится. Если бы неиспользование заложенных в человеке способностей считалось преступлением, то девяносто, нет, девяносто пять процентов людей сидело бы в тюрьме, причем девяносто пять из этих девяносто пяти процентов сидельцев получили бы пожизненный срок. Вы скажете, что я не верю в людей? Не верю. Я верю в Человека. Человечество безнадежно, но отдельные личности могут обнадеживать. Мешок меня поначалу обнадежил, но...

Но кое-чего я все же добился — в плане воспитания Мешка. Он таки написал рецензию на «Героя...». С десятой попытки, но написал. Первые его рецензии были закономерно ученическими, и я возвращал их ему, прокомментировав одним емким словом: «Плохо». После девятого «плохо» Мешок на меня обиделся, и около недели мы не общались — это была как бы репетиция последующего разрыва. А через неделю он подошел ко мне с мрачным видом и дал листочек, сказав: «Еще одну плохую рецензию написал, не знаю зачем, но принес ее тебе». Я молча взял листочек в руки и прочитал следующее:

Два друга

Жили на свете два друга — назовем их для простоты первым и вторым другом. И однажды во время прогулки между двумя друзьями произошел любопытный разговор на литературно-философскую тему.

1. (Первый друг). Читал ли ты «Героя нашего времени»?
2. (Второй друг). Читал, конечно.
 1. Даже «конечно». Молодец. А помнишь ли ты рассуждение Печорина о дружбе?
 2. Помню, конечно.
 1. Опять — конечно. Два раза молодец. И в чем же, по Печорину, состоит суть дружбы?
 2. В том, что в дружбе один всегда раб другого, поэтому у Печорина и нет друзей, ведь рабом он быть не может, а повелевать ему скучно³³.

³³ «Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги!» (М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». О дружбе Печорина и Вернера).

1. Все верно, о мой удивительно начитанный друг, все верно. Знаешь, долго я думал над этими печоринскими словами. Думал и удивлялся. Насколько же надо быть разочарованным в людях человеком, чтобы рассматривать дружбу в такой плоской, совершенно оторванной от реальности перспективе! Сразу видно человека, который никогда и ни с кем не дружил, — а иначе никак не скажешь такую глупость, ведь дружба по определению стремится к равноправию, к взаимоуважению, к взаимной пользе.

2. Согласен с тобой. Я тоже так думаю.

1. Еще бы ты думал не так.

2. А еще я думаю...

1. (Передразнивая) «А еще я думаю...» Предоставь думание мне. Твое дело — поддакивать моим суждениям, а не формулировать свои.

2. Но я просто...

1. Палка!

С этими словами первый друг подобрал с земли палку и бросил ее — метров этак на пятнадцать от места литературно-философского разговора, — второй же друг с энтузиазмом понесся за палкой и вскоре принес ее первому другу.

— Молодец, ты — просто лучший из друзей, — похвалил второго друга первый, забирая палку и поощрительно глядя его по голове.

— Хорошо, — сказал я Мешку. — Хорошую рецензию ты написал. Молодец.

— Погладить забыл.

— Что?

— Ну, я же молодец — так что меня требуется поощрительно погладить.

Поддедюлил меня Мешок под конец... В общем, дружбы между нами не вышло, но, возможно, какой-то толк от нашего общения для Мешка впоследствии и проявится. Хотя и не уверен.

Но вернусь к прерванной нити повествования. Волшебный замок. Самосовершенствование. Родители. Да, родители... Они вырастили меня, они воспитали меня, они по-настоящему гордились мной. Они посвятили свои жизни мне, — и я вполне оправдывал их надежды. А потом они... умерли. Все умирают, скажете вы. Конечно, но все умирают в разном возрасте и при различных обстоятельствах. Обстоятельства смерти моих родителей были все же не вполне обыкновенны — особенно для меня. Что касается папы, то у него во сне оторвался тромб (так нам потом сказали, я до сих пор не совсем понимаю, что это значит), и мама, обыкновеннейшим образом проснувшись (одним необыкновенно прекрасным зимним утром) в супружеской постели, даже не сразу заметила, что рядом с ней лежит не муж, но труп мужа. Вот так тихо, непредсказуемо и нелепо прекратилась наша прекрасная жизнь в волшебном замке. Начался кошмар. Мама впала в протрацию, я последовал за ней. Для меня смерть папы вообще стала чем-то необъяснимым ни в каких терминах. Как все молодые и (или) здоровые люди, я полагал себя и родственников естественно бессмертными людьми. Умереть... но смерть — это что-то такое, о чем лишь говорят, но чего на самом деле не бывает. Смотрите, я жив и здоров. Смотрите, окружающие меня люди живы и здоровы. Да, все мы когда-нибудь умрем, но «когда-нибудь» — это «когда-нибудь», то есть, скорее всего, никогда. И тут отец, которому и было-то всего пятьдесят пять лет, умирает. Я вполне буквально не мог в это поверить — смерть представлялась мне формой болезни, от которой папа может оправиться в любую минуту. Легкое недомогание, розыгрыш, нелепость.

Справедливости ради стоит сказать, что папа любил говорить о своей смерти, причем в присутствии ему юмористическом ключе. Он говорил, что «у нас в роду все умирает».

рают от разных причин, но все — совершенно неожиданно и не доживая до шестидесяти лет. Мой дед (твой прадед) умер в тридцать седьмом году — но не вследствие репрессий, а в приступе ярости по какому-то ничтожному бытовому поводу, а мой отец (твой дед), совершенно выздоровевший после тяжелейшей болезни, тут же умудрился попасть под машину. Вот и я умру как-нибудь так, как вы и не можете себе представить — и значительно раньше, чем вы можете предположить», — говорил он и хохотал. Хохотал, хохотал... и умер именно так, как и предсказывал. Непредсказуемо умер.

В самой смерти, надо сказать, нет ничего смешного. Помню, с каким недоумением я отправился улаживать различные похоронные дела. На улице было морозно и солнечно, радовал глаз свежесвыпавший белоснежнейший снег — природа расцвела прекраснейшим зимним цветком, так что могло показаться, будто бы сегодня в мире сделалось что-нибудь особенно хорошее. А я шел хоронить отца³⁴. Шел и недоумевал. А потом умерла и мама. Ее смерть не стала такой неожиданной, как смерть папы, но от этого она не стала и менее болезненно-оглушающей.

Мамин секрет

— ...

— Главная прелесть хорошего брака и состоит в том, что он с необходимостью уничтожает всякую возможность иметь хоть какие-то секреты друг от друга³⁵.

— Главная иллюзия, ты хотела сказать.

— Вот как? Значит, у тебя есть какой-то страшный секрет, о котором я ничего не знаю?

— Не очень страшный, но есть. А у тебя, конечно, нет ни одного?

— Нет. И не может быть. В браке двое становятся одним, — а как можно иметь секрет от самого себя?

Я припомнил этот реальный диалог между мамой и папой, чтобы вы поняли умонастроения моей матери. Брак для нее был всем — каким-то вовсе религиозным переживанием. Я даже знаю, что мать хотела венчаться в церкви, но отец заявил столь решительный протест, что пришлось ограничиться банальным светским загсом. Вообще, мама часто говорила, что формула брака: «Клянемся любить друг друга... в богатстве и в бедности, в горе и в радости, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас» — это самое прекрасное, что было придумано человечеством. Только она говорила, что смерть, конечно, не разлучает любящих и что настоящая любовь может заканчиваться только как в сказке: «И умерли они в один день». На что отец со свойственной ему чуткостью заметил, что, как он надеется, хотя бы их сыну не придется умирать в один день с обоими родителями. Шутки шутками, но отец, как я уже сказал, умер, а мать, верная своей идеологической установке, не могла пережить его смерти.

Хотя поначалу, как могло показаться, она и восприняла факт смерти отца стоически, разве что стала несколько рассеянной. Но потом произошло событие, которое провало поверхностную плотину ее стоицизма. Отец был заядлым курильщиком, а покупала сигареты ему всегда мама — блоками. По одному блоку в неделю — по воскресеньям. Покупала и полушутливо пилила его — она не одобряла вредные привычки, так что дружеское переругивание по поводу сигарет стало частью воскресного ритуала нашей семьи. И вот однажды в воскресенье, уже после смерти папы, мама при-

³⁴ «Я вышел вон, на дворе было морозно и светло, восходящее солнце ярко светило на снег, точно будто сделалось что-нибудь хорошее; я отправился заказывать гроб» (А. И. Герцен. «Былое и думы»).

³⁵ Вывернутая наизнанку цитата из «Портрета Дориана Грея» Уайльда: «The one charm of marriage is that it makes a life of deception absolutely necessary for both parties».

шла домой из магазина и, разбирая покупки, достала из сумки блок сигарет — она купила его чисто автоматически. Некоторое время она молча созерцала свою покупку, а потом вдруг тяжело опустилась на стул и зарыдала. Как будто только теперь она со всей ясностью осознала, что отца больше нет, и некому теперь курить купленные ею сигареты, и не за что, потому что некого, больше упрекать. После этого случая она и впала в протрацию, а вскоре уже не вставала с постели.

Вообще, не припомню, чтобы мама с папой хоть раз поссорились всерьез (если не считать случая с пистолетом, речь о котором пойдет ниже). Хотя был один случай. Так, даже не случай, а случайность. В принципе я не уверен, что это вообще происходило. Короче говоря, дело было так (а мне самому было тогда лет десять). Ложусь я однажды спать, засыпаю уже, можно сказать — и вдруг слышу яростную словесную перепалку. Прислушиваюсь, разумеется, и ушам своим не верю: отец с матерью кроют друг друга такими словами, употреблять каковые в нашей семье ну никак не принято. Я встал с кровати и пошел к кухне, откуда и доносились страшные звуки. Подхожу к двери: действительно, на кухне сидят папа с мамой — сидят и мирно о чем-то разговаривают. Я успокоился и опять пошел спать. Засыпаю, значит, и вдруг опять слышу площадную ругань из кухни. Встаю, иду, та же самая картина: мама с папой мирно разговаривают. Что за наваждение? Пошел я опять спать и сразу же заснул. Слуховая галлюцинация, не иначе. А может быть, и не галлюцинация вовсе. Может быть, и не было у нас все так уж и мирно. Воспоминания о детстве — странная вещь, сами знаете. Я не могу представить себе ругающихся родителей — соответственно, возможно, что их ссоры каким-то образом трансформировались в моем подсознании. Но я не фанат всяких подсознаний и бессознательного, я фанат сознания. Папа и приучил меня развивать именно сознание в первую очередь, и я ему крайне за это благодарен. Помнится, в детстве я замучил его вопросами о том, есть ли у меня подсознание и как его развить. «Развивай сознание, — любил говорить он. — Будет у тебя сознание, уж что-нибудь и под ним да окажется»³⁶. Лучше, по-моему, и не скажешь.

Но это — в скобках, возвращаюсь к основной линии моего скорбного рассказа. Мама впала в протрацию, а вскоре уже и не вставала с постели. Наблюдать за процессом умирания — тяжелая школа; наблюдать за процессом умирания любимых — школа невыносимая. Мама угасала, я все время был при ней. Оглушенный горем, психологически я и сам был готов последовать за родителями. Но перед смертью мама еще успела произнести удивительную речь, добившую меня. Привожу ее полностью:

— Я не жалею о жизни. На мою долю выпало счастья столько, сколько выпадает лишь немногим. Но одна мысль гнетет меня — мысль о том, что я была не вполне честна с отцом и с тобой.

— О чем ты, мам?

— Ох, даже не знаю, как и сказать. Боюсь, после моего признания ты разлюбишь меня.

— Ты же знаешь, что это невозможно. Но может быть, лучше тебе ничего и не говорить? Лучше отдохни и наберись сил.

— Силы мне уже не понадобятся, и ничем, кроме отдыха, я уже скоро не буду заниматься. Но я тоже так думала: лучше не говорить, лучше не говорить. Но нельзя не сказать... Ты ведь знаешь фразу: «Все тайное становится явным». О, это одна из величайших мыслей, когда-либо сформулированных человеком, если только автор ее — человек. Но я думаю, что автор ее — Бог. Как и некоторых других... Человеку такое не под силу. Не дано. Так о чем это я... Да, все тайное становится явным. Люди скрытни-

³⁶ Из диалога Ролана Быкова с его педагогом Владимиром Ивановичем Москвиным: «100 ролей Ролана Быкова» (5.00 — 5.15).

чают, но обманывают они только самих себя, а перед лицом Господа они всегда как открытая книга — со всеми своими подвигами и грехами. И когда грех каким-то образом остается мнимо скрытым от глаз — человек разоблачает себя сам. Так устроил Бог. Вот и я... мне казалось, что я могу унести свою тайну в могилу, но я не могу этого сделать. Твой отец — ТАМ, и он наверняка уже все знает, но ты — здесь, и ты должен узнать все прямо сейчас.

Тут мама остановилась, словно ожидая каких-то слов от меня, но ничего не дождавшись, словно бы выдохнув, отрывисто сказала:

— Твой отец — не твой отец.

Я снова промолчал. Вроде бы такие фразы должны звучать наподобие грома, но это только в сознании их произносящего — тот, кому они адресованы, чаще всего оказывается просто смущен и сбит с толку.

— Все произошло как-то странно. Я встретила твоего отца во время учебы в университете. Нам быстро стало ясно, что наши отношения — на всю жизнь. Мы уже и дату свадьбы назначили, и тут он потащил меня на рок-концерт — там выступали студенческие рок-группы³⁷. «Жалкое зрелище — сочетание непрофессионализма и отсутствия способностей при неистребимом желании что-то кричать в микрофон и мучать гитару» — так сказал твой отец, и я была с ним абсолютно согласна. Мы уже собрались уходить, когда на сцену вышел ОН. Кажется, он еще даже и не начал петь, а вся аудитория уже была у его ног. По-другому я сказать не могу, как не могу описать и его выступление. Могу только сказать, что его группа называлась «Viscious», а потом оказалось, что и фамилия у него подходящая — Вишійус (ударение — на второе и). Звали его Антоном. Антон Вишійус — так звали твоего настоящего... нет не настоящего, а биологического отца. При этом на Сида Вишеса он похож нисколько не был, он был скорее декадентски элегантен, и если уж сравнивать Антона с кем-то из великих, то только с Джимом Моррисоном — с его психоделической музыкой и медоточивым голосом. Я, разумеется, имею в виду только энергетика — такого таланта, как у Моррисона, у Антона, разумеется, не было, да он и не считал себя рок-музыкантом, музыка для него была хобби, не более. Средство самовыражения и охмурения. Впрочем, а разве для великих это не так? Просто у них сцена побольше и, соответственно, большее количество охмуренных девчонок. А девчонки, конечно, вешались на Антона гроздьями, и я стала еще одной виноградкой, раздавленной, чтобы он мог выпить еще один бокал пьянящего вина. Вина любви. Хотя к любви, разумеется, все это не имело никакого отношения. И даже к влечению. Сам он рассуждал об отношениях полов так: «Не понимаю я, и чего так шумят о сексе? Ревнуют, калечат друг друга, убивают. А для меня это — как стакан воды выпить. Захотелось пить, налил воды в стакан, выпил. Захотелось девушку, поцеловал ее, лег с ней в кровать. Всего и делов-то». Конечно, следовало бы его спросить: не думает ли он, что девушка, с которой он возлег выпить стакан воды, может видеть ситуацию по-другому? Но в принципе с ним действительно было легко. Связь, которая не связывает. Трудно все это объяснить, и понять меня смогла бы только женщина.

А тогда мы слушали его в первый раз, и, кажется, твой будущий отец был замagnetизирован не меньше меня. «А ведь я его знаю», — сказал он после выступления.

³⁷ Здесь профессор Толль, автор книги «Вопиющие ошибки и неточности, найденные мною в „М. Ю. Л.“», резонно замечает: «Приводимая (в дальнейшем) автором хронология событий указывает, что Михаил Лев родился в 1984 году, — но тогда о каких студенческих рок-концертах идет здесь речь (а рок-концерт *предшествует* появлению Михаила на свет)? Речь может идти разве что о ленинградском роке восьмидесятых, — но тогда на весь город был один рок-клуб, а всякий самодельный рок был вне закона. Совершенно очевидно, что имеет место грубая фактическая неувязка, и автор описывает рок-клуб не восьмидесятых, а девяностых годов, когда Михаил уже давно родился».

Оказалось, что Антон учится на одном с нами курсе, то есть мы и раньше могли неоднократно пересекаться с ним в университетских коридорах. Запомни, по одним коридорам с нами шагает рок. Мы не видим его, но некто или нечто уже выполняет свое роковое предназначение. В общем, в этот же вечер, в вечер концерта, мы познакомились с Антоном, и — это прозвучит просто невероятно! — но в этот же вечер... Ты знаешь, как это бывает... но нет, ты не знаешь. Все выпивают, куда-то уходят, откуда-то приходят. Полная сутолока. В общем, твой отец куда-то пропал, а я оказалась наедине с Антоном в какой-то полутемной комнатке с кроватью. Этого оказалось достаточно. В тот раз. Были и другие «разы», хотя я не решусь назвать то, что происходило между нами, отношениями. Мы даже почти не разговаривали. Просто когда мы оказывались в одном месте, как-то само собой оказывалось, что мы должны быть вместе. Чисто физически. Я знаю, мужчины прибегают к аргументации «это для меня ничего не значило, чистая физиология» исключительно для себя, но... Но что могут понимать мужчины? Впрочем, я уже говорила, что мне трудно как-то объяснить природу наших с Антоном отношений, и физиологическое объяснение тоже не работает. Он просто зачаровывал, но при этом невозможно было относиться к происходящему всерьез. Например, мне даже и в голову не приходило, что я, оказывается, «кручу роман» за спиной своего жениха — хотя ведь именно так все и было. Но я и тогда продолжала считать чем-то самым собой разумеющимся, что именно с твоим отцом я должна навсегда соединить свою жизнь. Мы и поженились, причем ровно в запланированный еще до рокового рок-концерта день. С Антоном я порвала до свадьбы — уж поверь на слово; это было не так и трудно, а уж он, вероятно, и вовсе ничего не заметил. Подумаешь, маячила какая-то девчонка на горизонте, а теперь ее нет. Воды много, пей не хочу. Срывай цветы удовольствия. Но судьба его при этом сложилась крайне печально (как и у всех, кто хочет жить только удовольствиями): меньше чем через год он умер от передоза — обычная смерть рокеров, даже и таких, для которых рок — это хобби. Я знала, что он употребляет какие-то препараты; однажды я даже предостерегла его, но он только с улыбкой сказал: *«Зачем ползать по земле, когда можно воспарить к небесам. Одна таблетка и... Не хочешь попробовать?»* Слава богу, хоть какой-то разум во мне еще оставался, и я не стала «пробовать», благодаря чему воспарю к небесам только теперь, прожив не наркотически-иллюзорную, но настоящую жизнь. Вот все, что я хотела тебе сказать. Теперь я отправляюсь к отцу: к отцу моему и к Отцу Небесному — надеюсь, грехи мои будут прощены, и мы воссоединимся с ним в вечности.

С этими самыми словами мама и отошла в «мир иной». Я употребляю именно это словосочетание, считаясь с ее предсмертным настроением — сам-то я в загробную жизнь не верю. Впрочем, пока что это отношения к делу не имеет. Или вообще не имеет. В общем, неважно. Пока что.

Речь матери меня измучила. Даже сейчас, когда я перечитываю ее, она продолжает меня мучить. Точно ли я ее воспроизвел? Это вопрос. Нет, я уверен, что точно; я написал эту речь по горячим следам ее произнесения — и все же иногда я сомневаюсь. Иногда мне кажется, что мать вообще не сказала ничего, кроме того, что мой отец, оказывается, вовсе не мой отец, — а все остальное я придумал сам. А иногда мне кажется, что мать говорила целый день, а я здесь изложил лишь квинтэссенцию ее многословного, с избыточными подробностями рассказа. Но относительно главного пункта сомневаться не приходилось: с подробностями или без подробностей, но суть дела состояла в том, что прежняя жизнь моя разрушена³⁸. Ее больше нет. Я потерял

³⁸ «Письмо матери его измучило. Но относительно главного, капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главнейшая суть дела была реше-

мать и сразу двух отцов. Но этого мало — я потерял то, что можно назвать легендой или образом моей жизни. Я потерял самое главное — представление о самом себе. Кто я теперь? До этого я был сыном замечательных родителей, блестяще реализовывавшим заложенные в нем генные задатки. Суперотрок, на всех порах мчащийся к тому, чтобы превратиться в супермена. Но кто я теперь? Дайте ответ! Не дадут ответа³⁹. И на счет тайн... Все стало явным? Где уж там! Взять хотя бы такой вопрос: а с чего мама вообще решила, что я непременно сын этого самого Антона Вишиуса? Он что — тест на отцовство проходил? А вот окружающие всегда говорили мне, что я очень похож на отца — что я почти его точная копия. Это момент номер раз. Момент номер два: значит, это была связь, которая не связывает... Но почему тогда столько горечи в ее словах? И почему она сравнивает себя с виноградинкой, которую раздавили ради бокала вина любви? Нет, мам, не обманешь ты меня. Не знаю, любила ты этого Вишиуса или нет, но привязана к нему ты была сильно. Наверное, поэтому ты и считала именно его моим отцом — потому что именно его ты тогда любила, и я *должен был быть* именно его ребенком. Скорее его, чем отца. Момент номер три: да реален ли вообще этот Вишиус? Я предпринял розыски сего мифического персонажа и ничего не нашел. Может быть, я был недостаточно настойчив, может быть, я и не хотел ничего находить. Да, может быть, так оно и есть, но факт остается фактом: сделав несколько запросов в разные места и кое-кого основательно порасспрашивав, никаких следов никакого Антона Вишиуса я так и не обнаружил.

А может, мама перед смертью просто немного поехала умом — то есть вполне медицинским порядком?⁴⁰ Отсюда и Бог (светское сознание всегда с настороженностью относится к религиозному экстазу — он напоминает таблетки, уносящие на небеса). Или, может, Вишиус являлся к ней, как святым являются черти и всякие прочие соблазняющие явления? Отсюда, собственно, и фамилия: чистая символика, одно сплошное воображение? О, удивительная мать, так удивившая своего сына!⁴¹ Все тайное стало явным! Ха! Вместо этого я был окружен сплошными загадками и недомолвками. Я даже не мог понять — героем какой истории я стал? — то ли высокой трагедии, то ли мыльной оперы.

В общем, родители умерли. С их смертью что-то умерло и во мне, пересох сам источник эмоций, так что даже и скорбеть было неважно. Я больше не мог быть счастливым, но и слезы уже не могли быть мерилем моего несчастья. Моим единственным прибежищем в то время стала математика, ведь что бы ни происходило в жизни, математические теоремы все так же указывали на существование некоего незыблемого порядка. Живой мир мог рухнуть, математический — нет; неудивительно, что я уцепился за него.

Тогда я еще носился с честолюбивой, ранее всячески поддерживаемой папой идеей: «догнать и перегнать» Ницше. Тот, как известно, уже в двадцать четыре года стал профессором филологии, ну а я, красивый и двадцатидвухлетний (хотя уже и с поседевшей душой⁴²), хотел стать беспрецедентно молодым профессором математики.

на в его голове, и решена окончательно: „Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!“» («Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»).

³⁹ «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа» (Н. В. Гоголь. «Мертвые души»).

⁴⁰ «— Как вы думаете, Афанасий Иванович, — наскоро успел шепнуть ему генерал, — не сошла ли она с ума? То есть без аллегии, а настоящим медицинским манером, — а?»

— Я вам говорил, что она и всегда к этому наклонна была, — лукаво отшепнул Афанасий Иванович» (Ф. М. Достоевский. «Идиот». Генерал Епанчин и Тоцкий обсуждают Настасью Филипповну).

⁴¹ Уверен, что нет никакой необходимости говорить, отсылка к чьим словам здесь используется.

⁴² «У меня в душе ни одного седого волоса,

И старческой нежности нет в ней!

А осенью две тысячи шестого года произошло то невероятное и поначалу столь прекрасное...⁴³ Впрочем, пусть эту историю расскажет мой дневник, который я тогда вел достаточно добросовестно.

2.2. Страдания несостоявшегося профессора

10 сентября 2006 года

Начало учебного года, впрочем, оживление первых дней уже спало, и все, как студенты, так и преподаватели, дружно погружаются в привычную рутину. Увы, но удел студенческо-преподавательской братии повсюду один. Преподаватели в большинстве своем проклинаяют необходимость преподавать (вместо того, чтобы заниматься реальной наукой), а студенты — необходимость учиться, а между тем лиши их якобы ненавистных им занятий — и они попросту не будут знать, чем себя занять. Вот она — правда университетского бытия!⁴⁴ Когда-то я гордо считал, что могу величаво созерцать эту трагитрагедию со стороны, но теперь я уже не столь уверен.

Спрашивается: стоит ли и вообще чему-то учить(ся), и не есть ли учеба просто более хитроумный способ заработать себе на кусок хлеба и часок зрелища? И конечно, в абсолютном большинстве случаев так оно и есть. Вы видите профессора, ну а я вижу высокообразованного слесаря. Вы видите студента, а я никого не вижу. Ей-богу, так и тянет отправить почти всех студентов и большую часть преподавателей на сбор какой-нибудь условной картошки. Хоть какая-то от них польза...

Да, труд университетских работников интеллектуален, так ведь тем и хуже. Ничто так не унижает интеллектуальный труд, как полное нежелание включать голову. Выход один: создать что-то действительно стоящее. Думать. Думать. Помнить о великих и самому быть великим.

12 сентября 2006 года

Сегодня мне на глаза попалась довольно любопытная статья одного видного математика — на тему «О чем думает искусственная нейросеть?», но я почти не заинтересовался. Скверно, а еще сквернее то, что это становится нормой. Неужели и я сползу в трясику равнодушия? Нет, не может быть! Хоть силком, но я вновь разбужу в себе интерес к предмету — хотя бы и по формальному признаку. В конце концов, я ведь, кажется, мечтал стать до неприличия молодым профессором? Так вперед! Как там моя диссертация поживает? Поживает, голубушка, поживает.

А о чем там нейросеть думает? Шибко умной она стала, человеку за ней уже не угнаться. В шахматах, например, алгоритм *Альфа Зеро* такого шороху навел, что просто приятно посмотреть. Расколошматил, понимаешь, в пух и прах не то чтобы лучших шахматистов (с момента исторического поражения Каспарова этим уже никого не

Мир огромив мощью голоса,

Иду — красивый,

Двадцатидвухлетний» (Владимир Маяковский. «Облако в штанах»).

⁴³ «Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра: „Еще к вопросу о размножении бляшконосых или хитонов“, 126 стр., „Известия IV Университета“.

А в 1927-м, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе и японский: „Эмбриология пип, чесночниц и лягушек“. Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...» (М. А. Булгаков. «Роковые яйца»).

⁴⁴ «Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить, а если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Вот оно — назначение человека!» (Гёте. «Страдания юного Вертера»).

удивишь), но и лучшую компьютерную программу — Стокфиш. Исторический момент!⁴⁵ Хм, вот я и оживился, все-таки жив еще во мне интерес ко всяким таким штукам.

Что до темы моей диссертации, то я строю математическую модель, которая... Впрочем, если бы я мог вкратце объяснить, в чем состоит ее суть, то не стоило бы ее и строить. Важно то, что она совершит переворот в мире современной математики. В самом деле, было бы смешно, если бы моя работа принесла мне только профессорство. Нет, она сразу же принесет мне мировую известность.

Хотя к чему снобничать? Не объяснить, мол. Можно и объяснить. Замоещение плоскости — вот чем я занимаюсь. Задача ставится так: нарисована некая многоугольная фигура, и существует бесчисленное множество ее копий. Вопрос: можно ли всю плоскость умастить такими копиями — чтобы не оставалось никаких зазоров, свободных мест? «Ну, это такая обширная деятельность, что ей пока ни конца ни края не видно. Надеяться, что эта задача когда-нибудь будет решена во всей ее полноте, не приходится» — так говорят реалисты и скептики. Но я не совсем реалист — и уж совсем не скептик. Я стремлюсь к совершенству, то есть к недостижимому... для реалистов и скептиков. Пока что ситуация следующая: известно, что любым треугольником это сделать можно, то есть можно замостить всю плоскость. Как это делается? Правильно: треугольник надо перевернуть, составить параллелограмм, а далее — очевидно. Чуть менее очевидно, что любым четырехугольником тоже можно замостить всю плоскость. Далее все становится менее и менее очевидно, то есть все более и более интересно⁴⁶.

13 сентября 2006 года

Мой главный недоброжелатель на кафедре — профессор Карп (один из самых скептических реалистов). Как же он мне завидует! Если бы общий объем мировой зависти был ограничен, то всю зависть забрал бы себе он, и, кроме Карпа, на свете не осталось бы ни одного завистливого человека. Как же он меня ненавидит! Если бы энергия его ненависти могла трансформироваться в электрическую энергию, то мир не знал бы, что такое энергетическая проблема.

Вообще-то, ему есть в чем мне позавидовать и, как следствие, есть за что меня ненавидеть (а зависть и ненависть две вещи неразлучные). Карп стал профессором в шестьдесят лет, потратил, можно сказать, на тяжкий путь к профессорству всю свою жизнь. Усиленным, напряженным постоянством он наконец в науке безграничной достигнул результатов скромных...⁴⁷ А тут появляется какой-то сопляк, и нате вам — сразу же метит в профессора. И еще выше — много выше. Непросто принять такой расклад, плюс я со своей стороны не могу удержаться и не подлить масла в огонь, при каждом удобном случае рассуждая о своих блестящих перспективах и скуке университетского существования, не забывая пошутить о «профессорах, получивших профессорство за свой почтенный возраст». В общем, одно мое присутствие превращает Карпа из вполне безобидного в крайне желчного старика. В отместку он придирается ко всему, чему

⁴⁵ Здесь профессор Толль, автор книги «Вопиющие ошибки и неточности, найденные мною в „М. Ю. Л.“», восклицает: «Поистине исторический момент! — ведь поединок Альфа Зеро со Стокфишем состоялся в декабре 2017 года, то есть аж через одиннадцать лет после описываемых в дневнике событий».

⁴⁶ Пример с замощением плоскости взят мною из видео: «Алексей Савватеев. Новейшие прорывы в математике».

⁴⁷ «Усиленным, напряженным постоянством

Я наконец в искусстве безграничном

Достигнул степени высокой...»

(А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Монолог Сальери).

только может. Может он, правда, не очень много, так как элементарно не понимает строящейся мною модели, в чем, разумеется, не признается. «Феноменон» — так он называет меня за глаза. Ему почему-то кажется, что это едко и остроумно. «Как там поживает наш юный феноменон? — ежедневно вопрошает он на кафедре. — Он уже осчастливил человечество плодами своего гения или еще только готовится?» Я еще только готовлюсь, но уже и почти готов.

14 сентября 2006 года

Мой главный «доброжелатель» на кафедре, можно сказать, почти что мой друг — доцент Ершов. Ерш. Лысоватый, колючий, умный, раздражительный, оригинально рассуждающий и, увы, пьющий. Сильно пьющий. Спивающийся. Когда он заходит на кафедру, такое впечатление, что туда зашли три бомжа — прокуренно-перегарный амбре он носит за собой повсюду, как и свой донельзя затертый джинсовый костюмчик; ни разу не видел, чтобы он носил что-то другое. Он показывал мне свои студенческие фото — и на них он в этом же костюмчике, и видок у него такой же скрюченно-алкогольно-прокуренный. Сейчас Ершу уже сорок два, но выглядит он на все... сорок три. Ха-ха. Хотя и не очень смешно.

К моей работе он тоже относится со скепсисом, но это совсем не карповский скепсис. Ерш верит, что я могу замостить плоскость, вот только его это вовсе не воодушевляет.

— Ну замостишь ты свою плоскость, ну и что? — спрашивает он.

— Удивительный вопрос! Вроде как: «Ну, создал Эйнштейн теорию относительности, ну и что?»

— Ты не Эйнштейн, а замощение плоскости — не теория относительности.

— И все же это будет не самым малозначимым научным достижением последнего времени, причем в мировом масштабе. Нет?

— Будет, — соглашается Ерш. — Разве ж я возражаю. Будет, конечно. Ну и что?

— Ну и то, что мы здесь все как бы наукой занимаемся.

— Именно что «как бы наукой». Наука закончилась, а мы все чем-то занимаемся.

— И почему-то это наука закончилась?

— Потому... Потому что раньше человек науки искал Истину, а теперь мы все только раздражаем клетки головного мозга. В игры играем.

— А раньше — не играли?

— Не играли. Раньше, например, были неизведанные земли, и их надо было открыть. Это серьезно. А сегодня, когда все, что можно, открыто, чем путешественники заняты? Экстремальным туризмом разного пошиба — играми то есть. В науке то же самое. Все мы уже давно не первооткрыватели, а экстремальные туристы. А мне экстремальничать неохота. Лучше уж я приобщусь к бесконечности.

— То есть лучше всего — пить? («Приобщением к бесконечности» Ерш называет свои бесконечные запои.)

— Конечно. И как это ты сам-то не пьешь? Как математик может не пить? Во времена Ньютона математику *должно* было быть трезвым, во времена Лобачевского — *можно*; после Лобачевского — *сложно*, но где-то после Кантора оставаться трезвым для математика стало уже просто *стыдно*. Все, что можно делать после Кантора, — это приобщаться к актуальной бесконечности. Чем я и занимаюсь.

Откровенно говоря, я не очень верю, что алкоголизм Ерша носит такой вот гносеологический характер. Несомненно, водка часто бывает следствием психологического надлома, но не реже — и его причиной, и мне кажется, это как раз случай Ершова. Он спивается просто потому, что пристрастился к этому делу, а пить он начал с детства. Он сам рассказывал мне, как ходил с отцом к врачу, и врач спросил его, в каком воз-

расте он начал пить, а он и ответил: «С восьми лет». Отец (профессор физики, между прочим) с изумлением посмотрел на него. Да, слушая такого рода истории, я только еще больше начинаю боготворить собственного отца. Что же это за семьи такие, в которых ребенок бухает с детства?! А родители (причем интеллигентные родители!) ничего не замечают? Так, что ли? Не понимаю...

«Я только еще больше начинаю боготворить собственного отца». Отца? Какого из отцов? Рокера-наркошу? «Что ж это за семьи такие, в которых...»

21 сентября 2006 года

Когда ты формально принадлежишь к любому коллективу, то это с необходимостью порождает ряд неудобств, связанных с осуществлением определенного рода обязанностей. Мне в этом смысле всегда везло: папа (папа?) делал все возможное, чтобы избавить меня от существования в обычном графике обычных детей; мой график обучения всегда был более-менее свободным. Сейчас мне помогает уже сложившаяся репутация «почти гения, который вот-вот осчастливит человечество какой-нибудь если не теорией, то хотя бы теоремой» (формулировка Карпа — он не блещет оригинальностью; почти все его саркастические формулировки обыгрывают идею «осчастливливания» мною человечества). И все-таки я тоже кое-что должен. Я преподаватель, а потому должен хотя бы иногда преподавать.

И экзамены еще принимать приходится, а едва ли существует что-нибудь более бессмысленное, чем экзамен в любом его виде. Сама идея экзаменования порочна. Тот, кто знает, тот знает, что он — знает; экзаменовать его — только отвлекать. Заставлять учиться, отвлекая от познания. Но лишь немногие — познают, остальные именно что готовятся к экзаменам. Но собственно, даже и всякий студент, хорошо подготовившийся к экзамену, отчетливо понимает, что сдавать экзамен ему уже не обязательно. А вот тот, кто не готов или готов так себе, — другое дело. Следовательно, экзамен можно было бы определить как формальное мероприятие по выявлению форменного незнания.

Естественно, экзамены необходимы, этого я не отрицаю. Но мало ли на свете всякого бессмысленно необходимого?! Жизнь вообще представляется мне арендой борьбы двух тезисов, один из которых верен для Человека, а другой — для человечества.

— *Привнеси в жизнь смысл, и она начнется*, — говорит Человек.

— *Убери из жизни бессмыслицу, и жизнь прекратится*, — уточняет человечество.

Сам я, кстати, весьма строгий экзаменатор, но для меня это не более чем игра. Я чувствую, что студентам просто необходим преподаватель, выносящий на сессии по полкурса, — это своего рода часть как рутины, так и легенды университетской жизни. Дикарям нужен свой Кинг-Конг, который, требуя периодических жертвоприношений, наводил бы на них ужас, но одновременно и придавал бы их жизни смысл, внося в нее измерение чудесного, даже божественного. Кстати, как ни странно, но студенты меня скорее любят, хотя я и не стесняюсь напрямую указывать им на всю степень их дикарского невежества. Любовь к преподавателям, как я посмотрю, вообще мало зависит от их мягкости или суровости. Любят и тиранов, и демократов. Пожалуй, больше любят все-таки тиранов — но таких, которых любят. И ненавидят более всего именно тиранов — если уж они внушают ненависть.

А еще я должен, так сказать, научно руководить, и это уже не просто неудобство, это уже настоящий кошмар. Хотя на самом деле я не прочь руководить, если кто-то хочет руководиться; да никто не хочет, а помогать стряпать курсовые и дипломные работы — слуга покорный! Но вот — должен. А понимаю ли я, что такое есть долг? Что такое долг я понимаю, но вот в чем тут долг, чтобы помогать стряпать курсовые

и дипломные работы — этого я никак не пойму⁴⁸. Но понимай не понимай, а надо этот долг исполнять, а то профессором не станешь.

К чему я это все? Вот к чему: пришла ко мне сегодня Ива (студентка-четверокурсница с не вполне привычным для русского уха именем), — хочет, чтобы я ее теперь «вел» до диплома. Говорит, что до этого никак не могла найти тему, которая была бы ей интересна, и ей посоветовали обратиться ко мне. Наверняка со зла посоветовали; на кафедре всем известно, как я отношусь к своим научно-руководительным обязанностям. Но не так зол злодей, как его малюют недоброжелатели. Иногда (и даже нередко) я могу быть и вполне вежливым. Поговорили, прикинули. Ива неожиданно остановила свой выбор на теме «*Математика в философской мысли: от древности до наших дней*». Я ей обрисовал приблизительный круг затруднений, которые могут возникнуть при охвате такой объемной темы, но у нее только еще больше глаза разгорелись. «Нет, я уверена, что это моя тема». Уверена так уверена. Я так вот совсем не уверен, что смогу за два года раскрыть ТАКУЮ тему до конца удовлетворительным образом. Но «раскрыть тему» и «написать диплом» — все же разные вещи. Диплом, я думаю, мы напишем. Под моим чутким руководством.

Ушла. Удивительно некрасивая девушка, хотя лицо у нее... Не могу даже и описать. В общем, запоминающееся. Большие, прямо огромные глаза. Жесткие волевые складки у рта и, на контрасте, мягкий, глубокий, чарующий голос. Макияжа ноль, кожа скорее грубая, обветренная. При этом совсем не мужиковатая девушка, нет. Черт, как все-таки пошло устроено мужское (под)сознание. Кто ко мне должен был прийти — фотомодель, что ли? Я иногда мимо какого-то самопального Института высшей экономики прохожу, и там у входа почти всегда тусуются шикарные девицы, подъезжающие на соответствующих рангу их шикарности роскошных авто. Но такие девицы математикой не интересуются, да и экономикой, впрочем, скорее всего, тоже. А я не интересуюсь такими девицами. Ха-ха, вот в том-то вся пошлость мужского (под)сознания и состоит, что сознательно не интересуюсь, а на мужском уровне реагирую. Так и пролезают мыслишки типа: «Вот бы такой девушкой поруководить». Сексизм у мужчин в крови, раз уж и такой сомнительный «мужчина», как я, до сексизма скатывается. Хотя бы и в мыслях. Ну, в мыслишках.

1 октября 2006 года

Литературно обработанный диалог, состоявшийся между научным руководителем Михаилом Львом и руководимой им студенткой Ивой

М. Прочитала ли ты диалог «Менон», как было условлено между нами при первой встрече?

И. Прочитала.

М. Понравился ли он тебе?

И. Даже очень.

⁴⁸ «Жена его, Марфа Игнатъевна, несмотря на то что пред волей мужа беспрекословно всю жизнь склонялась, ужасно приставала к нему, например, тотчас после освобождения крестьян, уйти от Федора Павловича в Москву и там начать какую-нибудь торговлишку (у них водились кое-какие деньжонки); но Григорий решил тогда же и раз навсегда, что баба врет, „потому что всякая баба бесчестна“, но что уходить им от прежнего господина не следует, каков бы он там сам ни был, „потому что это ихний таперича долг“.

— Ты понимаешь ли, что есть долг? — обратился он к Марфе Игнатъевне.

— Про долг я понимаю, Григорий Васильевич, но какой нам тут долг, чтобы нам здесь оставаться, того ничего не пойму, — ответила твердо Марфа Игнатъевна.

— И не понимай, а оно так будет. Впредь молчи» (Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»).

М. Расскажи, какая тема является основной темой диалога?

И. В диалоге разбирается вопрос: «Можно ли научиться добродетели?»

М. И каков ответ на этот вопрос: можно или нельзя?

И. Нельзя. Можно обучиться верховой езде, игре на флейте и прочим искусствам, но обучить добродетели нельзя. Добродетель дается нам по божественному уделу.

М. Все верно. Однако вот какая странность — диалог «Менон» я посоветовал к прочтению при работе над дипломом по теме «Математика в философской мысли». Но при чем здесь математика?

И. А в диалоге параллельно рассматривается еще и вопрос о природе знания, причем Сократ отстаивает точку зрения, согласно которой знание не приобретается, но припоминается человеком. Душа бессмертна и знает все; человек смертен и невежественен, но может припомнить все, что знает его бессмертная душа.

М. И это верно, но вопрос остается прежним: а математика-то тут при чем?

И. Так ведь именно на математическом примере Сократ и показывает, что знание не приобретается, а припоминается человеком. Сократ задает вопросы совершенно невежественному в математике рабу, и тот, как оказывается, прекрасно на все его вопросы отвечает. Но ведь никто не обучал его математике! Получается, что он нашел знание математики в самом себе, то есть, попросту говоря, припомнил ее.

М. И как: кажутся ли тебе аргументы Платоно-Сократа убедительными?

И. Мне?

М. Да, тебе.

И. Я не считаю себя вправе комментировать правоту или неправоту Платона.

М. Пожалуй, это хорошо. Во всяком случае лучше, чем если бы ты с ходу заявила, что не согласна с обоими: ни с Платоном, ни с Сократом⁴⁹. Первая стадия высокоразвитого мышления: благоговейное внимание к сказанному теми, кто выше тебя. Но на следующей стадии надо научиться быть критичным к сказанному кем угодно.

И. Думаю, до этой стадии мне еще идти и идти — и все равно не дойти.

М. Вполне вероятно, но тут многое зависит от тебя. Но вернемся к Сократу, рабу и математике. Чего добивался Сократ от раба?

И. Он хотел, чтобы тот определил длину стороны квадрата площадью в восемь футов.

М. Верно. А что бы на месте раба сделал современный школьник?

И. Ну, школьнику-то быстро сообщают формулу, по которой рассчитывается площадь квадрата, так что он просто извлечет квадратный корень из восьми. Получится что-то около двух и восьмидесяти трех, если не ошибаюсь⁵⁰.

М. И как ты думаешь, можно ли после совершения этой операции сказать, что школьник что-то знает или узнал?

И. Он ведь знает формулу и может пользоваться ею, значит, он что-то знает.

М. А я думаю, что раб в «Меноне» действительно приобщился к знанию, тогда как школьники в массе своей так и остаются ничего не знающими рабами. И это, кстати,

⁴⁹ «Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

– Да не согласен я.

– С кем? С Энгельсом или с Каутским?

– С обоими, — ответил Шариков.

– Это замечательно, клянусь богом. „Всех, кто скажет, что другая...“ А что бы вы со своей стороны могли предложить?

– Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...» (М. А. Булгаков. «Собачье сердце»).

⁵⁰ Если точно, то получится — 2,828427125.

один из косвенных аргументов против теории припоминания Платона. Вместо понимания мы получаем воспоминания. Воспомнить можно все, что тебе вбили в голову, но это далеко не всегда означает, что человек что-то знает. Можно привести и другой аргумент — более весомый. По ходу вопросов, задаваемых Сократом, раб всегда оказывается правым или иногда ошибается в своих предположениях?

И. Иногда ошибается. Так, вначале он предполагает, что квадрат со стороной в два раза больше, чем у другого квадрата, будет иметь и площадь в два, а не в четыре раза больше.

М. А как ты думаешь, это вообще нормально для процесса познания — что человек иногда ошибается в своих предположениях?

И. Не только нормально, мне кажется, это совершенно естественно и неизбежно.

М. А для процесса припоминания?

И. В смысле?

М. Не кажется ли тебе странным, что, припоминая, человек тем не менее ошибается?

И. Наверное, нет. Ведь это вполне возможная ситуация — когда человек что-то вспомнил, но на самом деле вспомнил неверно.

М. Да, это ситуация возможная, но не тогда, когда припоминается нечто, что человек *знает*. Представь себе, что ты заучиваешь какой-то текст наизусть. Пока ты заучиваешь его, ты постоянно проговариваешь этот текст, но все время с какими-то неточностями, так?

И. Так.

М. А как только все эти неточности исчезают, ты наконец-то можешь сказать, что текст выучен или, говоря по-другому, что ты теперь знаешь этот текст.

И. Так я и скажу.

М. И если я тебя попрошу припомнить этот текст, ты его припомнишь без ошибок?

И. Скорее всего.

М. Именно потому, что знаешь его?

И. Именно поэтому.

М. В том-то все и дело. Припоминание при предполагаемом знании не подразумевает ошибок.

И. Но ведь через какое-то время я могу подзабыть заученное наизусть, и тогда буду припоминать с ошибками, а то и вообще с трудом.

М. И что ты тогда сделаешь — если текст уже основательно подзабылся?

И. Вновь обращусь к нему.

М. А разве так можно?

И. А почему нельзя?

М. Но ведь согласно концепции «знания как припоминания» тебе нельзя обращаться к тексту, но следует попросту припомнить его — раз уж ты его знаешь. Обращаясь к тексту, ты познаешь текст, а не припоминаешь его. А если ты не можешь припомнить текст и самого текста у тебя нет — что ты сделаешь?

И. Похоже, остается лишь смириться с тем, что я его забыла.

М. Именно. Ошибка при познании движет (может двигать) познание вперед. Она неизбежна, но устранима. Ошибка при припоминании, напротив, фатальна, а забывчивость при обращении к памяти создает вакуум, который ничем не заполнить. Ничем, кроме повторного познания. Я уж не говорю о том, что всякий человек на практике четко видит разницу между процессом познания и припоминания, и, вспоминая, он знает, что именно вспоминает, а не познает нечто, а познавая, понимает, что познает, а не вспоминает. Познав нечто, не кричат: «Я вспомнил!», но, напротив, кричат: «Эврика! Я узнал что-то новое!» Разве не так?

И. Пожалуй, так.

М. Подведем итог. Забывая, человек теряет право называть забываемое знанием. Можно помнить, не зная (что-нибудь бездумно заучив), но нельзя знать, не помня. Ничего же не зная, человеку вообще нечего вспоминать.

И. И с этим я, пожалуй, соглашусь.

М. Но тогда получается, что в диалоге «Менон» мы скорее видим именно процесс *приобретения* знания, а не его припоминания. И нам следовало бы задать Платону вопрос: почему, припоминая, раб иногда ошибается, при этом учась на своих ошибках и продвигаясь в своем познании вперед? Что ты там записываешь в свой блокнот?

И. «Вопрос к Платону. Почему раб ошибается?»

М. Правильно.

И. И все же до конца вы меня не убедили.

М. Почему? Ты же все время «пожалуй», но соглашалась со мной.

И. Просто вы давите на меня своим авторитетом.

М. Вот как?

И. Да, знаете ведь, какая у вас репутация. Я и сама из-за вас два раза матан пересдавала.

М. Из-за меня или из-за своего незнания?

И. Каюсь, из-за своего незнания.

М. Следовательно, и бояться надо не меня, а своего незнания. Вот и сейчас — чем бояться меня и ссылаться на авторитет, просто опровергни мои слова.

И. Попробую. Представьте себе адвоката, который назубок знает то дело, которое он сейчас ведет. Он ведь именно что *знает* это дело.

М. Знает, конечно.

И. А завтра наш адвокат возьмется за другое дело, а законченное дело совершенно вылетит у него из головы. Вместе с тем мы ведь условились, что он *знает* это дело. Значит, он знает это дело, но забыл его.

М. Правильно все-таки было бы сказать: знал, но забыл. Знал, а не — знает.

И. А по-моему, как раз неправильно. Он *знает* это дело и мог бы его припомнить, если бы сильно захотел. И вполне возможно, что, припоминая, он бы совершал и кое-какие ошибки и корректировал бы себя, то есть процесс припоминания сильно напоминал бы процесс познания.

М. Хм, возможно...

И. Да то же самое можно было бы уже сказать и о стихах, заучиваемых наизусть. Если я выучила наизусть стихотворение и, таким образом, знаю его, а потом где-то более года не повторяю его и забываю, то нельзя сказать, что я обязательно перестала его знать. Я вполне могу и припомнить это стихотворение (не перечитывая его), и опять-таки не факт, что без ошибок и даже, скорее всего, с ошибками. Я уже не говорю о том, что некоторые писатели, как я слышала, со временем совершенно забывают свои тексты, и когда им показывают то, что они когда-то написали, они видят чужой, написанный кем-то другим текст. Но уж кому и знать свой текст, как не создавшему его! Выходит, такие писатели и знают, и забывают, и тезис «*Нельзя знать, не помня*» оказывается весьма сомнительным.

М. Выходит, что так. Молодец. Я, пожалуй, соглашусь с тобой.

И. Не может быть!

М. Не только — может, но и есть. Но погоди торжествовать. Можно привести и еще один аргумент против концепции знания как припоминания — причем, как мне видится, уже совершенно неопровержимый.

И. Какой же?

М. А вот какой. Если все знание следует лишь припомнить, то ведь это означает, что любое знание может быть припомнено в любой момент времени, а не так, чтобы какое-то знание припомнилось в одну эпоху, а какое-то — в другую?

И. По-видимому, так.

М. Следовательно, никто не мог бы помешать какому-нибудь мыслителю «припомнить» дарвиновскую теорию эволюции во время жизни Платона?

И. Звучит диковато.

М. Еще как диковато, но это прямое следствие концепции знания как припоминания. Вместе с тем очевидно, что только определенный уровень знаний в области биологии мог позволить сформулировать теорию эволюции и что сформулировать ее во времена Платона было совершенно невозможно. Как и теорию относительности Эйнштейна. Следовательно, концепция знания как припоминания неверна.

И. Жаль, что вы не жили во время Платона. Было бы интересно послушать, что бы он вам ответил.

М. Так живи я в то время, и я бы еще ничего не знал о теориях эволюции и относительности.

И. И то верно.

М. Ладно, пойдем дальше. Пока что мы ходили вокруг да около, но теперь настало время задаться главным вопросом: почему, рассуждая о знании как припоминании, Платон выбрал математический пример? Для твоего диплома этот вопрос куда важнее самого вопроса о знании как припоминании.

И. Но Платон и вообще-то часто обращался к математическим примерам.

М. Это, несомненно, важное замечание, но как раз ответ на вопрос, почему он привел математический пример в «Меноне», скорее всего, подскажет нам и ответ на вопрос о том, почему он вообще часто использовал математические примеры. Но для этого тебе придется обратиться к... Канту.

И. К Канту?

М. Именно.

И. То есть Кант поможет мне ответить на вопрос, почему Платон в «Меноне» использует математический пример?

М. Да, в «Критике чистого разума» можно найти ответ и на этот вопрос.

И. Я боюсь «Критику чистого разума».

М. Не бойся, пока что тебе не потребуется знание всего этого текста. Разберись с самым началом — там, где речь идет о природе априорного знания — и обрати особое внимание на то, что Кант говорит о математике.

И. Хорошо, когда же мы встречаемся?

М. Недели, я думаю, тебе вполне хватит. Так что очередное свидание назначаю на восьмое октября.

И. Недели мне, конечно, не хватит, но на свидание я обязательно приду.

2 октября 2006 года

Я — лучше всех. Нет, у меня не приступ самолюбования — я услышал эти слова со стороны. Да, так мне сказала Ива. «Почему ты выбрала меня в руководители?» — спросил я ее. «Вы — лучше всех», — ответила она. Какая грубая, какая прямолинейная лесь! Но странное дело — как согрели меня эти слова! Хожу и повторяю их про себя: «Я лучше всех, я лучше всех». Заткнись уже. Но ведь не я это придумал. Заверенный со стороны факт!

Существует ли лесь столь грубая, что человек не смог бы ее проглотить? Льстят ведь всегда другим, а нам лишь отдают должное.

Некрасивая девушка с огромными глазами и чарующим голосом. Некрасивая? Кто сказал, что некрасивая? Не красавица, да, но...

6 октября 2006 года

А ведь приходится признаться себе, что я жду восьмого числа.

8 октября 2006 года

Второй литературно обработанный диалог, состоявшийся между научным руководителем Михаилом Львом и руководимой им студенткой Ивой

М. Прочитала ли ты начало «Критики чистого разума», как было условлено между нами при прошлой встрече?

И. Прочитала.

М. Понравилось ли тебе чтение?

И. Не могу сказать.

М. Значит, не понравилось?

И. И так я тоже сказать не могу. Пожалуй, Кант стоит выше всяких «нравится» или «не нравится». В целом его тяжело читать — он подавляет. Он как камень, который надо катить в гору, но при этом я чувствую, что если бы я смогла закатить этот камень хотя бы на холм, то стала бы значительно сильнее. Боюсь, правда, что для меня это скорее сизифов труд, и камень-Кант все время будет скатываться обратно.

М. Любопытное сравнение, но мы сейчас должны сосредоточиться на математике. А что там говорит Кант о математике?

И. Он утверждает, что математические положения всегда априорные, а не эмпирические суждения, потому что они обладают необходимостью, которая не может быть заимствована из опыта. Основными же признаками априорного знания по Канту и являются необходимость и строгая всеобщность, тогда как опыт никогда не дает своим суждениям истинной или строгой всеобщности, но сообщает им только условную и сравнительную всеобщность — посредством индукции.

М. Верно, но как нам связать все это с «Меноном»?

И. Я думала над этим и полагаю, вы имели в виду следующее: что знание как припоминание Платона очень похоже на априорное знание Канта. И то и другое есть знание до всякого опыта действительного познания. Правда, концепция Платона куда романтичнее: у него странствующая неисчислимо время, как в теле, так и вне тела бессмертная душа узнает все, что только может знать, а человеку потом остается лишь припомнить все это⁵¹, тогда как Кант, естественно, подобных образов не рисует. Опять-таки Платон говорит о любом знании как о припоминании, тогда как Кант отделяет априорное знание от знания апостериори, то есть добытого из опыта.

М. А откуда же тогда берется априорное знание, если уж странствия души, будь то здесь, на Земле, или где-нибудь в Аиде, здесь ни при чем?

И. Оно — просто неизбежный спутник чистого разума. Или говоря словами самого Канта: чистым мы называем разум, содержащий принципы безусловно априорного знания.

⁵¹ «А раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала; поэтому ничего удивительного нет в том, что и насчет добродетели, и насчет всего прочего она способна вспомнить то, что прежде ей было известно. И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно, — люди называют это познанием — самому найти и все остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать» (Платон. «Менон»).

М. То есть, попросту говоря, разум априори содержит в себе априорное знание как необходимое условие чистоты своего существования?

И. Сомневаюсь, что словосочетание «попросту говоря» здесь уместно, но, наверное, как-то так.

М. Да, как-то так. Но вот это словосочетание — «как-то так» — может ли считаться строго научным?

И. Нет, не может.

М. А вместе с тем в области философии мы слишком часто вынуждены его употреблять. А в математике?

И. Нет, в математике все должно быть только «вот так», а не «как-то так».

М. Верно — и теперь-то мы и подходим к сути. Математика так часто привлекала философов, потому что достоверность математического знания безусловна. Математик, как никто другой, может быть уверен в том (во всяком случае, так полагали раньше, сейчас ситуация стала более запутанной), что если он доказал нечто, то опровергнуть доказанное уже никак невозможно. Собственно, само слово «доказательство» по своей сути математично, и строгое доказательство может быть лишь математическим. Однако философия так и не сумела стать на математические рельсы, на них стали точные науки (и прежде всего физика), — зато философы подметили эту вот странную деталь...

И. Какую же?

М. Что математическое знание априорно. Выходит, та самая строгая всеобщность, которую любой человек науки так жаждет найти в окружающем его мире, с надежностью находится лишь в его собственном разуме, а лучшее выражение для этой строгой всеобщности дает именно математика. Разумом все начинается, и на разуме все замыкается. Истина математики заложена в самой структуре познавательной способности человека. Математика как будто бы целиком содержится в голове, непосредственно откуда ее и можно беспрепятственно вытащить. Отсюда и получается, что разуму, если он хочет найти знание, то есть нечто безусловно верное, надо обратиться к самому себе, то есть припомнить то, что в нем и так уже есть. Видишь, проделав немалый путь, мы вернулись к «Менону»!

И. !!!

М. И теперь я думаю, ты и сама скажешь, почему Платон, рассуждая о знании как припоминании, привел именно математический пример.

И. Попробую. Он сделал это, потому что знание как припоминание не требует познания, то есть обращения к предметам окружающего мира, но заключено в разуме познающего, а математика как раз идеально соответствует таким условиям, раз уж, согласно Канту, она дается априори.

М. Именно так. Что ж, будем считать, что начало твоей дипломной работе положено.

И. Эх, а я-то размечталась, что это уже конец!

М. Если бы это был конец, то это был бы и конец наших встреч. А неужели ты желаешь, чтобы они прекратились, едва начавшись?

И. Нет, конечно, я рассчитываю и даже мечтаю, что наши встречи продолжатся.

М. Тогда — до новых встреч!

30 октября 2006 года

Сегодня должна была прийти Ива — предполагалось очередное дипломное общение, — но она не смогла (какие-то дела). Мое разочарование было так велико, что я сам себе удивился. Я как будто бы целую неделю ждал именно и даже исключительно этого — встречи с Ивой. Боюсь сказать, но, кажется, я...

2 ноября 2006 года

Поздно бояться, да и нечего, если подумать. Да, я влюблен. Впервые в жизни. Как так получилось? Само собой. Наверное, это всегда так и происходит — само собой. «Наверное», потому что я не специалист в любовных делах и вопросах. Если хотите знать, то я до сих пор еще девственник. Да, девственник в свои двадцать два года⁵². Не могу сказать, чтобы меня это как-то особенно угнетало раньше или угнетает сейчас, хотя, наверное, это любопытно — быть искушенным в такого рода делах. Но не по мне это — вся эта потная возня по кроватям.

Вообще, сама структура моего бытия не подразумевает слишком близкого контакта с людьми — что моего, что противоположного пола. По-настоящему близок я был лишь с родителями, и этой близости мне было вполне достаточно. Но теперь родителей нет, и мне не хватает живого общения. Однако что касается общения с девушками... Что я могу вспомнить об этом? Помню, в школе я как-то попытался влюбиться в девочку, сидевшую на первой парте. Это было насильственное с моей стороны мероприятие — своего рода задание в ряду других заданий. Естественно, ничего у меня не получилось, хотя какое-то время я и пытался убедить себя, что влюблен. Потом... да ничего. Я и близко не могу припомнить ситуации, когда у меня могло бы сложиться то, что называется «отношениями». Наблюдение же со стороны за тем, как складываются «отношения» у моих ровесников, а потом — у коллег, да и просто окружающих, вызывало у меня привычное недоумение; такое же недоумение у меня вызывали и другие их дела. Полная какая-то бессмыслица. Половое ослепление вначале, потом отрезвление, ссоры и под конец — дети, повторяющие путь своих родителей. Или еще можно сказать так: не могущие построить своей жизни родители бросают в этот мир не знающих, как строить свою жизнь, детей. Порочный круг. Отношения моих родителей на этом фоне опять-таки виделись мне исключением из правила. Ну а я? А я был вполне самодостаточен и, откровенно говоря, думал, что так и смогу пройти весь жизненный путь гордым одиночкой. Выходит, не смогу?

8 ноября 2006 года

Больше всего меня поражает, что при первой встрече Ива показалась мне некрасивой! Самая красивая девушка на свете!

10 декабря 2006 года

Я должен, да, я должен признаться в своих чувствах. Но как она это примет? Какой оригинальный, наверное, просто-таки впервые в мироздании прозвучавший вопрос! Но все-таки: как? Правда, мне кажется, я не самообольщаюсь, и она смотрит на меня с симпатией. Конечно, научный руководитель и студентка — все это как-то... Да какая разница! И потом — я ведь лучше всех!

20 декабря 2006 года

Это случилось! Конец девственности. Начало жизни. Все произошло немного буднично и без всяких признаний. Сначала я пригласил ее в кафе, а потом вдруг решил пригласить и к себе домой. Она приняла оба приглашения. И вот уже утро, Ива

⁵² «Если уж хотите знать правду, так я девственник. Честное слово. Сколько раз представлялся случай потерять невинность, но так ничего и не вышло. Вечно что-нибудь мешает» (Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». Холден Колфилд).

еще спит, а я пишу эти строки. Что-то радикально изменилось, я это чувствую, но пока еще не знаю что. А чего тут знать? Просто растаял лед.

Как все прошло? Никому об этом не расскажу. Во-первых, это никого не касается, а во-вторых, пуританская закваска во мне слишком сильна.

23 декабря 2006 года

Ах, как же все это неприлично! Как восхитительно! И с каждой ночью становится все неприличнее и восхитительнее! Я ничего не знал о чувственной стороне жизни, и если подумать, то мог бы так и не узнать. Но нет, не надо думать. Сейчас не надо думать. Надо быть счастливым. Я счастлив! Счастлив! Счастлив! Счастлив! Я не устаю произносить это слово — ведь от повторения слова «счастье» становишься еще счастливее. Да, я счастлив. Счастлив до неприличия.

1 января 2007 года

Первый день нового года, и я заранее знаю, что это будет самый счастливый год в моей жизни. Я и Ива. Ива и я. Теперь мы будем неразлучны. Та пустота, которая образовалась после смерти родителей, наконец заполнена. Единственное, что меня сейчас смущает, так это именно полнота моего счастья. Так не бывает. Так не может длиться долго. Но может быть, я это заслужил? Моя жизнь до сих пор была своего рода чувственным постом — и вот плотину прорвало. Я чувствую себя подпольным миллионером Корейко, который дождался краха советской власти и получил-таки возможность не только копить, но и тратить свои миллионы⁵³.

11 января 2007 года

Вспоминаю, как я выстраивал свои дни раньше, и сравниваю с тем, как я выстраиваю свои дни теперь. Вот мой ежедневник:

Утро. Думаю о том, что сегодня вечером встречу с Ивой.

День. Думаю о том, что сегодня вечером встречу с Ивой.

Вечер. Вижу Иву.

Вечер с Ивой.

Ночь с Ивой.

Утро следующего дня. Думаю о том, что вечером я опять встречу с Ивой.

19 января 2007 года

Каждый раз, видя ее, подходя к ней и целуя, я переживаю нечто удивительное. Я все жду, когда наши ежедневные встречи станут чем-то более обыденным, но пока что этого не происходит. И слава богу, небу или чему там еще. Чудо каждый вечер, сказка каждую ночь.

— Всегда удивляюсь, — сказал я ей сегодня при встрече в студенческой столовке, — всегда удивляюсь, когда вхожу и вижу, что ты здесь.

⁵³ «Обладатель десяти миллионов походил на боксера, расчетливо подготовляющего свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать — все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старое вернется, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма» (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

— Мы же договорились встретиться.

— Да. И все равно удивляюсь⁵⁴.

Она довольно улыбается, хотя, вообще говоря, комплименты не любит (а может, я просто не умею их говорить). Не имея стандартно привлекательной внешности (и комплексуя по этому поводу), Ива обладает просто фантастическим природным магнетизмом. Она — естественный центр притяжения в любой компании (не такой, как я; я если и центр, то центр, удерживающий окружающих слушателей на почтительно-благоговейном расстоянии, а она именно что притягивает), а она очень любит всяческие компании — у нее, в отличие от меня, масса друзей, с которыми мне иногда приходится ее делить. Студенты, конечно, кто ж еще. Откровенно говоря, мне с ними скучно, их юная (сказал двадцатидвухлетний старик) трепотня с обреченными на провал планами на будущее может вызывать только смех, но присутствие Ивы все искупает. Правда, пару раз она ловила меня на том, что я не слишком почтительно отзывался о ее знакомых, и очень злилась по этому поводу, называя меня высокомерным. Я ей разумно отвечал, что преподавателю трудно стоять на одной ступени со студентами. Да, я умнее ее друзей, их разговоры для меня слишком «детские», и с этим ничего не поделаешь. Тогда она замыкалась в себе и подолгу не разговаривала со мной. На все же мои попытки завести беседу она хмуро отвечала: «Я слишком глупая, я еще не доросла до того, чтобы общаться с тобой». Надо учиться быть скрытным. Не хочется. Но по мелочам скрытничать придется. Наверное, в любви по-другому не бывает. Любовь — это такое главное, которое требует поступиться многими мелочами.

25 января 2007 года

Ива помогает мне увидеть Петербург во всем его блеске. Это ее город, она ходит по нему радостная, гордая, озорная, одно ее присутствие придает петербургским улицам праздничный вид, даже когда они серы и слякотны. Мой Петербург — это в основном Дом книги, Эрмитаж и Русский музей; ее — многочисленные кафе, театры и кинотеатры, книжные магазины, выставки современных художников, бесконечные очаровательно-бесцельные прогулки. Да, да — те самые «просто прогулки», которые я так в свое время порицал. Теперь я счастлив «просто гулять» — ведь это самое осмысленное из всех мыслимых действий. Гулять, смотря на любимую умиленно-затуманенным взором...

Ива — природный «прогульщик»; нет такого уголка, куда бы она не заглянула; нет ничего мало-мальски интересного, что бы не пробудило ее непритворного любопытства. Сегодня она увлекается живописью, а завтра уже без ума от латиноамериканских танцев. Каждое мгновение она превращает в событие, каждое событие — в праздник. Ну вот хоть вчера — встретились мы с ней в универе, и хотел я, как обычно, как тридцать раз в месяц, как триста шестьдесят пять раз в году, подняться по лест-

⁵⁴ «Он встал ей навстречу и поцеловал в щеку. Несмотря на то что она просиживала целые дни в прокуренной конторе, от нее всегда веяло свежестью, словно она только что гуляла в лесу.

Она заказала себе шампанского, „чтобы удалить изо рта привкус молодости“, как она поясняла.

— Всегда удивляюсь, — заметила она, потягивая шампанское, — когда вхожу и вижу, что ты здесь.

— Я же сказал, что приду.

— Да. И все равно удивляюсь. Каждое утро, расставаясь с тобой, я думаю: ну вот, уж сегодня-то он наверняка встретит какую-нибудь неотразимую красавицу или вдруг вспомнит, что вечером ему непременно надо быть в Лондоне, Загребе или Афинах, где выступает знаменитый актер или актриса.

— Ни в Лондоне, ни в Загребе, ни в Афинах нет никого, с кем я хотел бы встретиться, и единственная неотразимая красавица — это ты. Других я нынче не встречал.

— Какой ты милый. — Констанс сияла. Она по-детски любила комплименты. — Ну, рассказывай, чем ты сегодня занимался» (Ирвин Шоу. «Вечер в Византии»).

нице и пройти к кафедре, — так нет, Ива вдруг сказала: «А пойдем вот так» — и потащила меня окольным путем — какими-то коридорами и лестницами, о существовании которых я и не подозревал. Я уверял Иву, что так мы к кафедре не выйдем, но она лишь смеялась, уверяя, что непременно выйдем. Она оказалась права — вышли. И что? — спросите вы. Да ничего, в принципе. Пустяк, — но пустяк, превратившийся в нечто большее, в нечто запомнившееся. Ива — волшебница, превращающая повседневность в приключение.

Однако в том, что касается учебы — наверняка в будущем это будет относиться и к работе, — она пуританка. Просидеть несколько дней подряд в Публичной библиотеке, роясь в рекомендованных мною книжках, — для нее норма. Независимость — вот ее любимое слово⁵⁵, а больше всего на свете она ненавидит женский паразитизм за мужской счет. «Честнее быть проституткой, чем содержанкой», — негодует она, а единственный раз, когда я попытался (по случаю) заплатить за нее (несмотря на всевозможные подработки, денег у Ивы хронически нет), окончился суровойшей идейной выволочкой в духе феминисток-первопроходцев. При этом иногда мне кажется, что она куда больше похожа на Холли Голайтли (на вечно путешествующую по жизни⁵⁶, вечно окруженную мужчинами, вечно одинокую Холли), чем на Веру Павловну⁵⁷. Нет, не на Холли, конечно, это уж я хватил; может, на некрасиво-неотразимую Наташу Ростову — пока она еще не «успокоилась в Пьере»? Но нет, и не на Наташу — никогда она ни в ком не успокоится. Скорее, она похожа... На кого же? Да ни на кого она не похожа; даже на себя — и то не похожа! Каждый день ее приходится открывать заново. Смешливая, она всегда настроена на серьезный лад; восхитительно чувственная и романтическая, она живет самым трезвым расчетом; ласковая, она готова в любой момент полоснуть когтями всякого, кто, по ее мнению, этого заслуживает — да, мне тоже достается. И пусть достается. До встречи с ней я пребывал словно в забытии. Теперь это сонное состояние прошло⁵⁸.

8 февраля 2007 года

Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому я считал себя неспособным, овладело мною. Весь смысл жизни, не для меня одного, но для всего мира, кажется мне заключающимся только в нашей с Ивой любви⁵⁹. Любовь и вправду творит чудеса.

⁵⁵ «Но главное — независимость! Делать, что хочу, — жить, как хочу, никого не спрашиваясь, ничего ни от кого не требовать, ни в ком, ни в ком не нуждаться! Я так хочу жить!» (Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». Монолог Веры Павловны).

⁵⁶ «Я прожил в этом доме около недели, прежде чем заметил, что на почтовом ящике квартиры № 2 прикреплена странная карточка, напечатанная красивым строгим шрифтом. Она гласила: „Мисс Холидей Голайтли“, и в нижнем углу: „Путешествует“. Эта надпись привязалась ко мне, как мотив: „Мисс Холидей Голайтли. Путешествует“» (Трумен Капоте. «Завтрак у Тиффани»).

⁵⁷ Холли Голайтли — главная героиня повести Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани»; Вера Павловна — главная героиня романа Чернышевского «Что делать». Обе — ярые поборницы независимости, но если стремление к независимости Веры Павловны классически феминистично (полная финансовая самостоятельность, серьезное «мужское» дело), то Холли как раз активнейшим образом использует мужчин (и финансово в том числе), искусно жонглируя ими, но никому не подчиняясь; всяческих же «серьезных дел» она избегает органически, превращая жизнь в непрекращающуюся ни на миг игру.

⁵⁸ Местами дословная, местами переработанная (и основательно дополненная) цитата из «Вечера в Византии» Ирвина Шоу.

⁵⁹ «Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним — его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только

Я стал добрее к людям, люди стали добрее ко мне. Все вокруг мне улыбаются, и, о чудо, даже Карп во время нашей последней встречи был необычайно снисходителен и с похвалой отозвался о выполненной мною за последний месяц работе. «Это феноменально! Вы, по-видимому, действительно далеко пойдете, молодой человек», — чуть ли не добродушно сказал он. И даже (наверное, чтобы сойтись поближе) предложил как-нибудь вместе перекусить:

— В трактире «Золотого льва»?⁶⁰ — в шутку спросил я его. Он не понял и, кажется, опять подумал, что я над ним насмехаюсь. Впрочем, если бы он и понял, мог бы обидеться еще сильнее. Все метят в Моцарты, никому не хочется быть Сальери. И забивать голову классикой тоже никому не хочется.

14 февраля 2007 года

Решил. Наконец-то решил! И какое изящное, краткое решение! Впрочем, обычная история: теория растет, растет, разрастается до бесконечности, а потом приходит человек с двумя страницами текста и расставляет все по своим местам. Я пришел — со своими двумя страницами. Я замостил плоскость. Ни одного зазора не осталась. Как и в моей жизни.

Полнота любви тождественна полноте замощения.

13 марта 2007 года

Ревность. В первый раз в жизни я ревную. «Ты лучше всех!» — дарованное мне сокровище этих слов для Ивы, оказывается, не более чем разменная монета. Только при мне она одарила ими двоих, причем далеко не самых близких своих друзей. Мужского пола. Ива вообще общается почти исключительно с мужчинами — женщины как-то выпадают из круга ее знакомых, а естественная манера общения для нее — флирт. Флиртует как дышит, негодяйка такая. Милая негодяйка — лучшая из всех!

Но как бы все-таки... ну, чтобы... Не скажешь ведь напрямую: «Я не хочу, чтобы ты...» Не хочу, чтобы ты восхищалась другими? Не хочу, чтобы ты общалась с другими? Не хочу, чтобы ты даже смотрела на других? Не скажешь, — но именно этого я хочу. То есть не хочу. То есть хочу, но ни за что в этом не признаюсь.

29 марта 2007 года

Сегодня «мой» день, и, соответственно, мы пошли в Эрмитаж. Я тянул Иву к мастерам Возрождения, она тянула меня к импрессионистам. Ее любимые художники — Дега, Гоген, Ренуар — не сказать, чтобы представлены в Эрмитаже очень щедро, но кое-что имеется. Моя же любимая «возрожденческая» картина в Эрмитаже — «Юдифь»

стараясь скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастье. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выразившими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как-нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания» (Л. Н. Толстой. «Война и мир»).

⁶⁰ «С а л ь е р и : Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;

Я знаю, я.

М о ц а р т . Ба! Право? Может быть...

Но божество мое проголодалось.

С а л ь е р и . Послушай, отобедаем мы вместе

В трактире Золотого Льва»

(А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»).

Джорджоне. Ива вообще недолюбливает искусство Возрождения, считая его, с одной стороны, слишком религиозным, а с другой — слишком холодным. С первой частью ее претензии я, пожалуй, согласен, а со второй... в общем, я понимаю, что она имеет в виду. Мастера Возрождения, подобно Канту, подавляют. Сейчас этого не любят, сейчас каждый — свободная личность, а раньше свободной личностью могла быть только личность великая. Великое подавляет лилипутов. Наученный горьким опытом, я придерживаю эти мысли при себе, иначе Ива тут же скажет, что я обозвал ее лилипутом и припомнит мне это на месяц общения вперед. Однако удержавшись в одном, я тут же прокололся в другом. А ведь поначалу разговор развивался очень даже мило. Я рассказывал ей о своих поездках с родителями в Париж, Берлин и Рим; рассказывал о том, что в Берлине, на самом стыке восточной и западной частей города, есть чудная картинная галерея, где по каким-то таинственным причинам почти никогда никого нет, — и старые мастера выставлены как будто бы для тебя одного. На брендовом берлинском «Музейном острове» всегда полно жаждущего приобщиться к искусству народа, а тут — исключительно жаждущее приобщиться к ценителям искусство. Ее этот рассказ очень заинтересовал, и я пообещал ей, что мы обязательно съездим в Берлин и она все увидит собственными глазами. Ива, в свою очередь, на полчаса, а то и на час застряв перед портретом актрисы Жанны Самари, выразила сожаление, что в Эрмитаже нет другого портрета этой же актрисы и что портрет из Пушкинского музея в Москве ей нравится больше. Лучше бы в Пушкинском музее висел этот портрет, а здесь, в Эрмитаже — тот. Я полностью разделил ее сожаление, так что и тут все было прекрасно. И надо же было мне случайно обронить фразу, которая все испортила:

Третий литературно обработанный диалог, состоявшийся между влюбленным научным руководителем Михаилом Львом и руководимой им возлюбленной Ивой

М. И все равно: на фоне Возрождения импрессионизм — это прекрасное вырождение.

И. Что ты имеешь в виду? — настороженно спросила Ива.

М. То, что как бы прекрасны ни были импрессионисты и постимпрессионисты, объективно они уступают старым мастерам.

И. Объективно? И кто же может измерить эту объективность? Ты, конечно же?

(Я понял, что пропал, но, ввязавшись в этот разговор, уже не мог пойти на попятную.)

М. Почему обязательно я? Но да, и я в том числе. Но вообще это может увидеть всякий, кто держит глаза открытыми. Это очевидно.

И. А если для меня это неочевидно, значит, я слепа?

М. Опять ты все переводишь на себя — просто чтобы обидеться.

И. Я всего лишь следую твоим словам. Ты сказал: если человек не слепой, то он увидит, что старые мастера писали сильнее импрессионистов. Я не вижу этого, следовательно, я слепая.

М. Ладно, давай оставим эту тему.

И. Не я ее подняла. Просто это чудовищно — то, как ты узурпируешь право на оценку, считая себя безоговорочно правым, а всех остальных — тупоголовыми слепцами.

М. Не передергивай. Хотя в чем-то я могу считать себя правым безоговорочно, и ничего в этом плохого нет. В отношении конкретного тезиса — «Старые мастера (в целом) сильнее импрессионистов» — да, я прав. Безоговорочно.

И. Вот про это я и говорю. Именно такие, как ты, в свое время и не давали импрессионистам выставяться: дескать, на фоне великих, блестяще проработанных полотен прошлого это просто какая-то мутно-сиюминутная мазня.

М. Ничего подобного — импрессионистов душили и насмехались над ними те же самые слепцы, которые сегодня ими восхищаются. А я, надеюсь, сумел бы разглядеть

их талант. Да нет, я даже уверен в этом. Но на фоне гениев Возрождения — это все же именно таланты.

И. Но я люблю именно эти таланты, а не тех гениев.

М. Так ведь никто тебе и не запрещает...

И. Дай тебе и таким, как ты, волю — и запретили бы!

М. Таким, как я, значит... Ты меня смешиваешь с теми тупицами, которые запрещают произведения искусства? Я, по-твоему, жажду лавров цензора?

И. Ладно, пойдем отсюда, все равно настроение уже испорчено. Спасибо за прогулку по Эрмитажу.

Последние слова, естественно, начинены космической дозой сарказма. Поездка в Берлин, по-видимому, отменяется...

7 апреля 2007 года

Четвертый литературно обработанный диалог, состоявшийся между влюбленным научным руководителем Михаилом Львом и руководимой им возлюбленной Ивой

И. Вот ты такой умный, может, объяснишь мне, в чем смысл жизни?

М. Тебе какой смысл жизни раскрыть: твоей собственной или вообще?

И. А ты можешь оба?

М. Легко.

И. Ну, давай сначала моей.

М. Смысл твоей жизни состоит в том, чтобы быть рядом со мной. Это очевидно.

И. Ладно, проехали. Давай про «вообще».

М. А мне бы еще хотелось поговорить про «твой» смысл.

И. Конечно, хотелось бы. Каждому хотелось бы, чтобы смысл жизни другого человека состоял в том, чтобы стать придатком его собственной жизни.

М. Ты, как обычно, толкуешь все в дурную для меня сторону.

И. А мужчины, как обычно, толкуют все в сторону: «Дело женщины — все бросить и заниматься исключительно мною». Скажешь, нет?

М. Скажу «нет». Я не хочу, чтобы ты занималась *исключительно* мною. Разве у тебя мало занятий? Разве я их как-то пресекаю?

И. Нет, не пресекаешь, но очевидно, что, по-твоему, все эти занятия бессмысленны, а имеет смысл только то время, что я провожу рядом с тобой.

М. Ну, поскольку *ты* спрашиваешь у меня о смысле жизни, я думаю, тебе и самой твои занятия не видятся чем-то осмысленным.

И. Да, не видятся. Мои занятия, встречи с тобой, разговоры с друзьями — во всем этом нет, по-моему, никакого смысла. Так, времяпрепровождение; иногда бывает веселее, иногда скучнее, — но смысла во всем этом нет.

М. Господи, да что с тобой сегодня? Что-то случилось?

И. Не обращай внимания. Бывает, находит вдруг что-то такое, хоть волком вой.

М. Да, бывает. Но есть рецепт — как это вылечить.

И. Неужели? Не поделишься?

М. Поделюсь. Здесь мы как раз переходим от частного смысла жизни к общему. Знаешь, в чем состоит смысл жизни вообще?

И. Пока что еще нет, но через секунду узнаю.

М. Смысл — в гармоничном Порядке. Говоря о человеке, можно сказать, что смысл его жизни — в упорядочивании хаотичной реальности. А символ Порядка — математика. Мы с тобой как раз занимаемся математикой, так что у нас со смыслом все должно быть в полном порядке.

И. Должно быть, — но не в порядке. Я, кстати, так и подозревала, что ты скажешь что-нибудь в этом роде.

М. Думаешь, я не прав?

И. Я знаю, что ты не прав. Как ты любишь говорить — это очевидно. В жизни вообще нет никакого порядка.

М. Конечно, нет. В этом и состоит задача человека — привнести Порядок, чтобы он был.

И. Так сказать, все рассчитать и получить на выходе правильный ответ? Заполнить пустоту? Замостить плоскость?

М. Именно.

И. А я — часть уравнения твоей жизни? Ты *привнес* меня в свою жизнь, чтобы замостить ее, чтобы она шла упорядоченно-должным образом?

М. Чувствую, что ты сейчас опять повернешь мои слова против меня же.

И. А я опять-таки всего лишь следую твоим словам. Но знаешь, пожалуй, я все лучше и лучше понимаю тебя. И все дальше и дальше отдаляюсь от тебя.

М. Ну не обижайся, Ива. Давай просто больше не будем говорить на такие темы. Давай просто быть вместе...

И. Мы и так вместе.

М. Ты только что сказала, что отдаляешься от меня...

И. Да мало ли что я говорю. Не обращай внимания... Нет смысла обращать внимание на каждое слово, — иначе Порядок разрушится, иначе Гармонии не будет.

Я думал, что на этой неутешительной ноте разговор и закончится, но Ива вдруг продолжила.

И. Знаешь, что меня сильно удивляет? Многие вдруг ни с того ни с сего говорят, что они мне завидуют, а когда я их спрашиваю — «чему?», они с улыбкой смотрят на меня, как будто уж я-то точно знаю, чему именно они завидуют; как будто в моей жизни есть что-то такое удивительно и самоочевидно завидное. Но я-то точно знаю, что ничего такого в моей жизни нет. И с некоторых пор я думаю, что вообще ни в чьей жизни нет ничего такого, чему можно было бы по-настоящему позавидовать.

М. Ты повторила мысль Шопенгауэра.

И. Вот как?

М. Да, он говорил, что посочувствовать можно многим, а вот позавидовать особенно некому.

И. Насколько я помню, он при этом отчаянно завидовал Гегелю.

М. Ха-ха. Верно. И еще он был жутким женоненавистником.

И. Не позавидуешь ему.

М. Точно.

Тут мы немного развеселились и тем самым смягчили общее тягостное впечатление от разговора. Хотя, вообще-то, итог все равно неутешителен. И для Ивы, и для меня.

15 апреля 2007 года

Ива часто говорит, что я не гуманен. Гуманизм... Гуманизм гуманизму волк. Гуманизм эпохи Возрождения очень далек от гуманизма сегодняшнего времени. Тогда воспевался Человек с большой буквы, сегодня — с маленькой. А о маленьких людях тогдашние великаны не стеснялись выразиться в том духе, что те не более чем «произ-

водители дерьма и наполнители нужников». Попробовал бы Леонардо сказать нечто подобное сегодня, — да его попросту заклевали бы. Наполнитель нужников тоже человек, а потому достоин уважения! Сегодня «быть хорошим» — значит быть запанибрата со всем миром. Я — такой же, как вы, я — один из семи миллиардов. Из-за этого братания с карликами великаны и мельчают. Талант (и гений как высшее проявление таланта) — вот подлинное мерило личности. Человек равно талантливый человек. Есть и еще талант — внимать таланту. Тот, кто и сам не талантлив, и не умеет должным образом внимать таланту, пусть да уединится в своем ничтожестве. Это гуманно.

Чувствую, что это не моя речь, но скорее речь, произнесенная когда-то моим отцом⁶¹, — и что-то в этой речи все же меня смущает. Да, что-то смущает. Во многом, наверное, то, что такое понимание гуманизма явно отдаляет меня от Ивы. Да и саму Иву — как бы ее назвал Леонардо — не тем же ли наполнителем нужника? И кто не наполнитель? Сам Леонардо, понятное дело. А кто еще? На фоне Леонардо кто не является наполнителем нужника? Я, понятное дело, как раз претендую на то, что не являюсь. Я равняюсь на Леонардо и прочих титанов-великанов. Но даже если я и человек *наиталантливейший* — повод ли это называть всех остальных ничтожествами? Нет, что-то тут не так.

4 мая 2007 года

Ершов сегодня заявился на кафедру в весьма «приобщившемся к вечности» виде. Опасное это дело — у Ерша уже были неприятности, ему уже пообещали, что еще одно появление в универе в пьяном виде приведет к завершению его академической карьеры. Хорошо, что я был на кафедре один, но потом дверь открылась, и... и Ершу опять повезло — это пришла Ива. Сильно повезло — во всяких таких рискованных, сомнительных, «чреватых» ситуациях Ива чувствует себя как рыба в масле, то есть я хотел сказать — как сыр в воде. Мгновенно составив «план эвакуации», она (мобилизовав и меня) немедленно взялась за его реализацию. Худо-бедно, но мы вытащили Ерша на улицу, несмотря на его протестные уверения, при тщательной дешифровке сводившиеся к тому, что он, мол, в отличной форме и что ему сегодня лекцию читать. Тот, кто возился с пьяницами, знает, какой это тяжелый труд. Это только в фильмах алкоголики отличаются от трезвых граждан лишь несколько бессвязной, да и то не слишком речью. В реальности вы получаете на руки что-то мычащий кусок непослушной материи, норовящий выскользнуть из ваших рук, если он еще хоть что-то сообщ-

⁶¹ Мне кажется, я даже помню, как отец читал мне биографию Леонардо за авторством Зубова В. П., особо акцентируя внимание на следующих цитатах и отрывках:

«Мне думается, что люди грубые, дурных нравов и малого разума не заслуживают столь прекрасного орудия и столь большого разнообразия органов, как люди умозрительные и великого разума, а заслуживают они лишь мешка, куда поступала бы пища и откуда она выходила бы, так как поистине нельзя их считать ничем иным, кроме прохода для пищи; вот почему, думается мне, они ничего не имеют общего с человеческой породой, кроме разве голоса и фигуры, и все прочее у них значительно ниже зверя» (W. An. B, 21). Или еще резче: «И в самом деле, некоторые люди должны называться не иначе, как проходами для пищи, производителями дерьма и наполнителями нужников, потому что от них в мире ничего другого не видно, ничего хорошего ими не совершается, а потому ничего от них и не остается, кроме полных нужников» (Forst. III, 74 об.).

Леонардо увещевал ценить дарования людей выше всего остального. «„И если найдутся среди людей такие, которые обладают качествами и достоинствами, не гоните их от себя, воздайте им честь, чтобы не нужно им было бежать от вас и удаляться в пустыни, пещеры и другие уединенные места, спасаясь от ваших козней!“ Он продолжал, приравнивая подобных гениев к земным богам: «И если один такой найдется, воздайте ему честь, ибо такие люди и являются нашими земными богами, заслуживающими от нас статуй и почестей» (W. An. II, 14, В. П. Зубов. «Леонардо да Винчи»).

ражает, и куда-нибудь свалиться — если соображение уже оставило его. Не терплю пьяных: глупая улыбка, бессмысленный взгляд, бессвязно-восклицающая речь, нелепые телодвижения (Ерш, например, увлеченно хватал лацкан моего пиджака; схватив и, очевидно, не зная, что с ним делать, выпускал его из рук и начинал ловить снова) — нет, не вижу в этом ничего трогательного — по-моему, все это отвратительно.

М-да, ситуация — намечалось приятное свидание с Ивой, а тут тащи пьяного Ерша по коридорам, а потом, вытащив на улицу, думай, что с ним делать дальше. Решили везти его ко мне домой — больше некуда.

— Ива... тебя ведь Ива зовут, — бормочет Ерш, сидящий между нами на заднем сиденье такси. — Михаил рассказывал. Михаил — это вот он. Ерш — это я. Ива — это ты. Давно хотел познакомиться. Я — Ершов, человек конченный. Он — Михаил, человек... человек... Он... плоскость. Сделает. Точно сделает. Ты — Ива. Давно хотел познакомиться. Я — человек конченный, Ершов. Я — Ершов, он — Михаил. Михаил — умный. У-у-умный. Эйнштейн. Плоскость. Ива... Очень приятно. Ершов. Ива — не плоская. Ха-ха! Михаил — дурак. У него — Ива, а он — плоскость. Ерунда. Все — ерунда. Все, кроме бесконечности. Так приобщимся к бесконечности.

И так — без конца. Свидание с Ивой обернулось нянченьем с Ершом. Наконец мы приезжаем ко мне, Ерш отрубается, Ива уезжает, я остаюсь, день испорчен.

5 мая 2007 года

— Вас ведь уволят.

— Уволят. И правильно уволят. Меня обязательно надо уволить. Потому как если кто вместо работы пьет, а его не увольняют, то это непорядок. Так выпьем за то, что никакого порядка нет, а поэтому можно смело продолжать пить⁶².

— Уволят не уволят, но вы просто загнетесь скоро.

— Загнусь. Обязательно загнусь. Давно мне пора загнуться — я и так уже несколько лишних лет по земле ползаю. Вот уж не думал, что до сорока дотяну, а мне уж сорок два. Не, погуляли, посмотрели, и хватит. Пусть другие гуляют и смотрят.

— Сорок два — разве возраст? У вас все еще...

— Впереди, что ли? Ну, сказала Ива. Впереди... Позади нас — пустота, впереди — ваще ниче⁶³.

— Что?

— Неважно. Пойми, я человек конченный, — обреченно говорит Ерш. — Конченные мы все человеки, — переходит он к уточняющему обобщению. — И как людям не надоест все один и тот же глупый и бессмысленный обман⁶⁴; вся эта беготня за самками и кубками? Ведь никто не получает того, что ищет. Никто. Противоречие. Всем

⁶² «— А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл? — сказал Чичиков.

— Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что...

— Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком!

— Как милости вашей будет завгодно, — отвечал на все согласный Селифан, — коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посець, коли за дело? на то воля господская. Оно нужно посець, потому что мужик балуется; порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посець?

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать» (Н. В. Гоголь. «Мертвые души»).

⁶³ Слова из песни Егора Легова «Пластинин».

⁶⁴ «Весна, и любовь, и счастье! — как будто говорил этот дуб, — и как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли —

правит противоречие. Бьются, бьются, отхватят свой кубок и думают: ну и что? Заарканят свою самку и думают: э, нет, совсем это не то, чего я ожидал. И давай за новым кубком и новой самкой бегать — и опять та же песня: и кубок не тот, и самка не та — опять новые нужны. Нет уж, чем бегать по этому кругу, лучше я себе тихо и мирно сопьюсь, хотя бы осознавая тщетную абсурдность всей этой беготни. Но ни на какую приманку жизни я уже не клюну. Потому как главное противоречие в том и состоит, что конечному существу в бесконечности жизни делать нечего. Человек осознает свою конечность в общей бесконечности — и на этом все кончается. Человек конечный — человек конченный. Так приобщимся к бесконечности...

Это уже Ерш у меня на квартире ораторствует, а я и Ива ему внимаем, причем Ива — весьма внимательно-сострадательно. Проснулся (точнее — очухался) наш горе-философ понятно в каком состоянии, но потом приехала Ива и постепенно оживила его — как она оживляет всех. Ерш не упустил случая развернуть перед Ивой основные тезисы своей пропойной философии. Старая песня. Противоречие. Кто не может преодолеть противоречие, тот закичивается на нем. Логично? Логично. А Ершов — просто алкоголик, оправдывающий свое пьянство теоретическими посылами. Так я позже сказал Иве. Она отреагировала неожиданно бурно — только что не наорав на меня. «Да он лучше тебя в сто раз», — возмущалась она. А вот я уже давно не слышал, что я — лучший. Лучший у Ивы кто угодно, но только не я. Даже Ерш — и тот лучше.

16 мая 2007 года

Сегодня вечером я, выражаясь старомодным языком, буду просить руки Ивы. Это естественное следствие, с необходимостью вытекающее из наших отношений. Да, не все у нас настолько гладко, насколько бы мне хотелось, но одно не вызывает никаких сомнений: мы должны быть вместе. Следовательно...

17 мая 2007 года

Подвожу итоги вчерашнего вечера. Я хотел услышать «да» или «нет», впрочем, в «нет» я не верил, но и «да» я не услышал. И если уж быть до конца честным, то скорее я услышал именно «нет». В целом реакция Ивы меня обескуражила. Мое торжественное предложение она выслушала с некоторым... удивлением? Не могу подобрать точного слова. Как будто бы я ляпнул что-то неуместное.

Пятый литературно обработанный диалог, в котором научный руководитель Михаил Лев делает предложение научно руководимой Иве

М. Ива, я хочу, чтобы ты стала моей женой.

И. Кем?

М. Женой.

И. Женой?

М. Да, женой.

И. Какое странное слово — никогда не ассоциировала его с собой. Но правильно ли я поняла: ты мне, что ли, предложение делаешь?

М. Да.

И. Именно сейчас? Ты именно сейчас захотел, чтобы я стала твоей женой?

М. Нет, не сейчас. Я хотел этого с самой нашей первой встречи, просто сейчас пришло время... в общем, оформить то, что...

так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам» (Л. Н. Толстой. «Война и мир». Монолог князя Андрея).

И. Так что именно?

М. Наши отношения, что же еще.

И. Наши отношения... А тебе не кажется, что наши отношения зашли в тупик?

М. В какой тупик? О чем ты вообще?

И. По-моему, понятно о чем. Мы с тобой не совпадаем в ряде существенных мировоззренческих пунктов.

М. Знаешь, мне кажется, немного найдется пар, в которых муж и жена полностью совпадали бы друг с другом по всем мировоззренческим пунктам.

И. И что получается? Или ссоры бесконечные, или кто-то в итоге подстраивается под другого, причем обычно подразумевается, что это должна быть жена. Но я никогда не смогу подстроиться под твои взгляды, а ты никогда не пожертвуешь и крупницей своих воззрений. Да ты ведь и сам обожаешь распространяться в духе: «Не зная, что им делать самим, взрослые плодят все новых, не знающих, что им делать, детей».

М. Вот видишь, в чем-то мы совпадаем.

И. Не совпадаем. Я не знаю, что мне делать. Это ты претендуешь на то, что знаешь.

М. Все это пустое, Ива. Важно другое: мы встретились, мы вместе, и так и должно быть, несмотря на всякие мелкие недоразумения. Ну это же...

И. Очевидно? Это ты хотел сказать?

М. Да, именно это.

И. Вот объясни мне хотя бы тут — где ты увидел очевидность?

М. Трудно объяснять самоочевидное, да и не нужно — иначе оно не было бы самоочевидным.

И. Прелестное объяснение... Может, ты еще скажешь, что я твоя вторая половинка, найти которую было предназначено великим божественным планом твоей судьбы? А я, типа, своим глупым упрямством этот план разрушаю?

М. Про план — ерунда, а про половинку — так и есть. Ты — моя недостающая половина, я — твоя недостающая половина.

И. Все понятно. Знаешь, иногда в твоём присутствии мне прямо страшно становится.

М. Почему страшно?

И. Да потому что я вспоминаю все эти истории о психах, считающих своих жен вторыми половинами и калечащих их при малейшем подозрении на все, что им кажется изменой, а изменой им кажется уже даже минимально «провокационное» платье, например, или когда жена просто улыбается «постороннему» мужчине. На практике супружеской жизни концепция «второй половины» для женщины означает концепцию «единого мужчины», а она, женщина, становится лишь мало что значащей частью этого единства, а точнее говоря, просто растворяется в нем.

М. Опять вся эта чушь о том, что ты не хочешь быть моим придатком.

И. Но я действительно не хочу этого.

М. А я и не заставляю тебя. Равно как и, кажется, я еще не причинил тебе ни малейшего вреда, а ты меня уже записала в садисты какие-то.

И. Хорошо, допустим, я преувеличиваю. Я не думаю, что ты садист или станешь садистом. Но ты сам учил меня следовать логике, а логика всех твоих суждений ведет к тому, что я должна быть с тобой до конца твоих дней, потому что это самоочевидно. Повторяю: меня такая перспектива только пугает.

М. А это плохо — пройти жизнь вместе?

И. Я сказала все, что считала нужным. Я не могу стать твоей женой. Не сейчас.

М. То есть тебе еще нужно какое-то время, и ты можешь изменить свое решение?

И. Я бы сказала по-другому: пока что я готова встречаться с тобой и дальше. Но чтобы мы стали мужем и женой — такого никогда не будет. Это очевидно. Для МЕНЯ именно ЭТО очевидно. Уж извини.

29 мая 2007 года

Жду лета. Впервые в жизни я жду лета. Точнее, впервые в жизни я жду каникул, самых настоящих, самых обыкновенных каникул. Само это слово всегда вызывало у меня только недоумение. Свободное время всегда было для меня лишь поводом заполнить его интенсивной нагрузкой. Люди воспринимают свои занятия как каторгу, соответственно, главная их мечта — хоть на какое-то время вырваться с этой каторги, будь то на каникулы, пока они юны, или в отпуск — по мере взросления. Отпуск — слово, которое опять-таки говорит само за себя. Отпустите меня, пожалуйста! Но вот и я докатился до того, что мечтаю об отпуске — о том, чтобы меня отпустили. Отпустили к Иве. Да, этим летом я не собираюсь ничего делать — и думать ни о чем не собираюсь. Я собираюсь провести это лето с Ивой, и пусть профессорство подождет!

29 августа 2007 года

Лето прошло в целом разочаровывающе. Мы не стали ближе, хотя и дальше вроде тоже не стали. Все осталось на своих местах, но меня это не слишком радует. Начать с того, что в июне Ива на целый месяц уехала к родителям и даже не подумала взять меня с собой. Да и потом, когда она приехала, она вовсе не рвалась проводить все свое свободное время со мной. В итоге мы встречались ничуть не чаще, чем во время учебного года, да и встречи наши стали какие-то более... вынужденные, что ли. Как будто мы обязаны встречаться, раз уж мы вроде как пара. Так что, дождавшись каникул, я классически не знал, что с ними делать, и теперь с нетерпением жду начала учебного года — лишь бы все вернулось в свою обычную колею. О спасающая всех рутина, спаси и меня! Позор...

«Мы не стали ближе, хотя и дальше вроде тоже не стали». Это я, конечно же, успокаиваю себя. На самом деле такое впечатление, что за лето мы еще отделились друг от друга. Надо что-то такое сделать, чтобы... Но сколько я ни думаю, я никак не придумаю, как можно решить уравнение наших отношений. Надеюсь, это затруднение накануне прорыва.

22 сентября 2007 года

Явился Ерш, я должен удалиться⁶⁵. Как молниеносно это произошло! Подозреваю, что все началось с той самой пьяной истории, просто я тогда ничего не замечал, а теперь, задним числом, я кое-что припоминаю. Взгляды, разговоры. Но с кем у Ивы нет взглядов и разговоров? И с Ершовым тоже. Не к Ершу же ревновать?

Что, неужели женщины действительно выбирают мужчин за их недостатки, или у Ершова есть какие-то невидимые мне достоинства? Впрочем, мне сейчас не до того, чтобы копаться в женской психологии или выискивать возможные достоинства Ерша. Это раньше он был моим хорошим знакомым, а теперь-то он — мой соперник. Счастливый соперник, между прочим. Не клюнет он на приманку жизни — клюнул, гад такой; да и как на Иву не клюнешь? Но она-то куда смотрела? Куда сейчас смотрит? Неужели женщины действительно...

Как только представлю его и Иву... Нет, это хуже кошмара, и главное, все это так странно; так, не хочется произносить эти слова... *противоречиво*, нелогично, абсурд-

⁶⁵ «Приехал Альберт, и мне надо удалиться. Пусть он будет лучшим, благороднейшим из людей, и я сочту себя во всех отношениях ниже его, тем не менее нестерпимо видеть его обладателем стольких совершенств. Обладателем! Одним словом, Вильгельм, жених приехал. Он милый, славный, и необходимо с ним ладить» (И.-В. Гёте. «Страдания юного Вертера»).

но. И что мне делать? Человек в моей ситуации неизменно оказывается в глупейшем положении (или: человек в моем положении оказывается в глупейшей ситуации?), а выйти из глупого положения умным образом — это утопия. Поэтому все, что мне остается — совершать стандартный набор ритуальных (ритуальный набор стандартных?) действий брошенного: сходить с ума, надоедать возлюбленной упреками и просьбами вернуться и так далее. Но я и вправду до сих пор не верю, что все это реально. В программе моей жизни не предусматривался такой поворот. Я и Ива — мы встретились, чтобы быть вместе, мы созданы друг для друга. При чем тут Ершов?

Последний литературно-обработанный диалог, состоявшийся между влюбленным научным руководителем Михаилом Львом и отбившейся от рук возлюбленной Ивой

М. Вот два мужчины: я и он. Посмотри на меня: я молод, умен и не урод. Он — почти стар, некрасив и топит свое недовольство жизнью в водке. Со мной ты будешь развиваться, с ним — деградировать. Со мной ты будешь летать, с ним — ползать. Кто в своем уме делает такой выбор? Как ты спустилась с наших горных пастбищ к таким подножным кормам? На что тебе глаза — слепой и тот бы не ошибся так грубо⁶⁶. Нет, я просто отказываюсь верить. Это какой-то дурной сон.

И. Итог всех твоих речей понятен: только я достоин любви, так обожайте меня.

М. Мне просто больно смотреть, как ты сама уродуешь свою жизнь.

И. Хочу напомнить тебе в сотый раз, что это именно МОЯ жизнь. Но как раз это ты переварить и не в состоянии, потому что, кроме самого себя со всем твоим совершенством (слово «совершенством» произнесено саркастически, крайне саркастически), ты ничего не видишь. Тебе нужна не самостоятельная девушка, а группа поддержки, визжащая и взмахивающая помпонами при каждом произнесенном тобой словом.

М. Ну конечно же. Я уже понял, что все и всегда будет упираться в то, что я якобы самодовольный нарцисс.

И. Слово «якобы» излишне.

М. Считай, как хочешь. Все равно больнее, чем ты мне сделала, тебе уже не сделать. Но все же я не могу понять: почему? Ну почему?

И. ...

7 декабря 2007 года

Свадьба Ивы и Ершова. Худший год в моей жизни.

9 декабря 2007 года

Влюбленного из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в математика⁶⁷. Что ж, у меня все еще есть моя докторская диссертация, а на кону стоит звание профессора. А я ведь так об этом мечтал. Когда-то...

17 января 2008 года

Текст диссертации вывешен мною на специальном сайте. Автореферат распечатан. Соблюдены и все прочие формальности. Осталось лишь прийти на защиту и всех поразить. Где-то через месяц.

12 марта 2008 года

— ...Допущенная соискателем ошибка достойна того, чтобы сказать о ней несколько отдельных слов. Еще на самой начальной стадии работа соискателя вызвала нема-

⁶⁶ Очевидная отсылка ко всем известному монологу Гамлета.

⁶⁷ Немного переиначенная фраза Остапа Бендера: «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы» (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

лый резонанс: уровень теоретических обобщений и перспективы практического использования предлагаемой математической модели (замощение плоскости произвольным многоугольником) далеко превосходили все то, что можно было бы ожидать от столь молодого человека. Не знаю, как других, но именно это и смутило меня с самого начала. Скажем честно — не каждый день встречаешься с математиками уровня Эйлера или Лобачевского (ироническая усмешка) — конечно, всякое возможно, но... но позволительно и усомниться. Конечно, одаренность молодого человека не вызвала у нас сомнений (феноменон, не иначе!), но одаренность — это еще не все, к одаренности требуется приложить усердие и жизненный опыт. Мы же всегда сталкивались прежде всего с высочайшим самомнением соискателя — я уверен, многие из здесь присутствующих прекрасно понимают, что я имею в виду. Все-то он знает, и ни в ком-то он не нуждается. Что ж, это его право — нуждаться в ком-то или не нуждаться, быть скромным или посматривать на всех свысока. Сама диссертация в ее окончательном варианте должна была ответить на все вопросы — и вот она перед нами, и я только что продемонстрировал вам ошибку, совершенную соискателем. Эта ошибка любопытна прежде всего тем, что ее не мог совершить не то чтобы профессор, каковое звание сегодня и стояло на кону, или доцент, каковым соискатель в настоящее время уже и так является, или даже аспирант, но, пожалуй, такую ошибку не мог совершить и студент-старшекурсник. Такая феноменальная ошибка простительна разве только студенту, все еще постигающему математические азы на начальных курсах обучения. Но для постигшего азы такая ошибка уже непростительна. Хочу специально подчеркнуть, что я говорю все это не с целью как-то унижить соискателя или поставить под сомнение его научную квалификацию — то есть в отношении профессорства, конечно, он показал свою полную несостоятельность, но что касается его доцентства, вероятно... впрочем, не мне судить... А говорю я все это для того, чтобы мы еще раз задумались и осознали, что есть свой смысл в поступательном движении, равно как и в том, чтобы слишком молодые люди не могли сразу претендовать на слишком высокие звания и должности. В конце концов, и на пост президента России можно претендовать не ранее чем с тридцати пяти лет, и я думаю, что это совершенно правильно. А то, сами знаете, как молодежь норовит поставить все вверх дном. А когда все эти оголтелые ребята, вчера вышедшие из школы, все эти самоучки и выскочки с грандиозными проектами по переустройству мира приходят к власти, то что получается? Разруха, голод — бардак, в общем. Вот и в докторской диссертации соискателя я увидел только это стремление — удивить, поразить, произвести большой шум, потрясти основы. Но мы, слава богу, имеем возможность не пустить нашего соискателя трона к той профессорской власти, которой он жаждет. Нет, ему еще надо серьезно подучиться. Таланта его мы не отрицаем, и, возможно, в будущем он еще докажет, что не только много обещает, но кое-что и сделает. А пока результат неутешительный. На этом у меня все.

Эффект был велик. Каждое произнесенное Карпом слово обжигало меня как, простите за банальное сравнение, удар плетью, а сколь бы банальным оно ни было, более точного сравнения в данном случае и придумать невозможно. Надо отдать Карпу должное: он-таки отомстил мне за все — за все реальные и мнимые обиды, которые в обилии доставлял ему сам факт моего существования. Но самое страшное было не в сведении счетов — тут я мог бы постоять за себя, ведь я тоже умею произносить уничижительные речи — нет, самое страшное, что Карп абсолютно прав: я ошибся, и ошибся совершенно непозволительным образом. Конечно, насчет студентов-старшекурсников он перегнул палку, но вот умный аспирант уже, пожалуй, действительно не допустил бы той ошибки, которую я допустил. Как так вышло? Увы, ответ на этот вопрос достаточно очевиден. Не тем у меня в последнее время была занята голова, совсем не тем. А даже когда и тем, то не так.

Когда я «решил» задачу? Правильно — на пике влюбленности. «Полнота любви тождественна полноте замощения», — но если моя любовь оказалась с зазором, то и плоскость — тоже. Все правильно. Закономерно. Даже на развалинах своей жизни я рад, что вижу их (развалин) закономерность.

М-да, не зря Карп вдруг стал со мной любезен и сказал, что я далеко пойду. О, он уже тогда понял, что вскоре восторжествует надо мной. Но даже здесь, даже сейчас, слушая некролог своей диссертации, я понял, что обнаруженная ошибка все еще может пойти мне на пользу и даже тот ошибочный путь, который я прошел, при должных коррективах, все еще обещает... Но нет, сейчас я не могу думать ни о каком пути. Сейчас я просто унижен, втопан в грязь. А естественно, что, несмотря на высокопарно-поучительные слова, именно это и было главной целью речи профессора Карпа — унижить меня и втоптать в грязь. Что ж, ему это удалось. Молодец. Реально молодец, без шуток. Правда, он еще президента зачем-то приплел, «рвется к профессорской власти». Да, видно, сильно я его задел в свое время.

Пока я, претерпевая заслуженную экзекуцию, находился в аудитории, то пытался то ли равнодушно, то ли даже презрительно улыбаться, делая вид, что мне, в общем-то, все равно, но думал я лишь об одном: «Только бы уйти отсюда, только бы уйти». Наконец высочайшая милость удаления была дарована мне. Мало кто выходил из аудитории с таким горьким чувством⁶⁸, но когда я вышел, а точнее — вывалился в спасительный коридор, прочь от всех этих лиц, смотрящих на меня с каким-то странным выражением то ли сочувствия, то ли гадливости, а говоря проще — с коллективным лицом преподавателя, ставящего дежурную двойку среднестатистическому студенту. Да, так вот когда я вывалился в коридор, держа в руках распечатку своей несчастной докторской (точнее — автореферата), то легче мне не стало. Я задыхался. Мне необходимо было что-то сделать, снять напряжение, выплеснуть все то, что разрывало меня изнутри. Я заперся в туалете и стал методично разрывать прожигавшие мне руки листы. Перемещение диссертации в корзину для туалетной бумаги⁶⁹ заняло, наверное, с полчаса, но не принесло реального успокоения. Впрочем, откуда ему и взяться — успокоению? Удар по самооценке слишком велик. Я потерпел поражение там, где еще никогда не терпел поражений. Даже не знаю, оправлюсь ли я от этого нового удара. Моя математика — моя крепость. И вот я стою среди руин. Профессора математики из меня тоже не получилось. Пора переqualificироваться в... а в кого? Даже и не знаю. Я вообще более ничего не знаю.

25 марта 2008 года

В последнее время со мной произошла любопытная метаморфоза. Я перестал рассказывать — и начал слушать. По правде говоря, я уже довольно давно перестал что-либо рассказывать (сочинять истории), а теперь вот я начал слушать, и то, что я слы-

⁶⁸ «— По правилам аукционного торга, — звонко заявил он, — лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется.

Измученные друзья сидели недвижимо.

— Папашу вас! — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.

— Па-апра-ашу вас!

Аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился.

И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством»

(И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев»).

⁶⁹ Здесь профессор Толль, автор книги «Вопиющие ошибки и неточности, найденные мною в „М. Ю. Л.“», снова иронизирует: «Странно, что автор забыл свою излюбленную фразу и не написал: „Михаил Лев спустил свою диссертацию в унитаз“».

шу не перестает удивлять и угнетать меня. С кем бы я ни говорил, в конце концов выясняется, что я разговариваю с человеком, живущим среди жизненных руин. История жизни — это история кораблекрушения, а мой собственный крах на этом всеобщем трагическом фоне представляется не более чем частной иллюстрацией. Вообще, в последнее время я растерял не только всю свою веселость, но и значительную часть гордости. В прах обратился или, так сказать, умер, падши в землю (правда, пока еще никакого плода я не принес⁷⁰). Но это падение, пожалуй, мне на пользу; я и вправду был достаточно высокомерным су...м сыном. Это видели все, теперь я и сам это вижу. Я жил уникальной жизнью, обеспеченной мне уникальными обстоятельствами, и прежде всего уникальными родителями. И эту-то уникальность я пытался возвести в норму, порицая всех остальных за то, что они не имеют чего-то, чего они и не могли иметь.

Но и относительно природы своего уникального существования я тоже заблуждался... Впрочем, здесь мне пока еще не все ясно, я как будто стою на пороге важного открытия, но приоткрытая дверь все еще остается запертой. А пока что я слушаю, слушаю, слушаю. Теперь я все чаще вспоминаю слова Ивы о том, как часто ей завидуют люди и что завидовать ей не в чем. И это слова счастливицы! — той, которую почти каждый назвал бы несомненно счастливым человеком. Что уж говорить о других! Не жизнь, а надрыв в избе и на чистом воздухе, если вы понимаете, о чем я⁷¹. Достоевский понимал... О, Достоевский отлично понимал. Раньше я как-то недолюбливал Достоевского, теперь вдруг полюбил. Надорвался жизнью и полюбил Достоевского. Слишком много достоевщины вокруг. Раньше я думал, что могу от нее отгородиться, как от какой-то болезни, но теперь я вижу... но нет, то, что я вижу, все еще недостаточно ясно для меня. Я слушаю, слушаю, слушаю.

Да, так вот, из механизма, сочиняющего истории, я превратился в механизм, истории выслушивающий. Но когда выше я написал: «С кем бы я ни говорил», то, конечно, немного слукавил. Ни с кем я не говорю. Я именно что превратился в своего рода подслушивающее устройство довольно мистической природы. Стоит мне оказаться поблизости от кого-нибудь (например, просто идти какое-то время рядом), и в моей голове начинает звучать рассказ, представляющий в сжатом виде историю жизни идущего рядом со мной «кого-то». Вы, конечно, скажете, что так не бывает. Я вам отвечу: конечно, не бывает. Но что поделать, если со мной это небывалое все же происходит? Для упрощения восприятия считайте, что я просто выслушиваю людей. Договорились? И кому я задаю этот вопрос? Мой дневник не предназначен для посторонних глаз. Или дневников, не рассчитанных на читателя, в принципе не существует?⁷²

4 апреля 2008 года

Разумеется, я не буду приводить тут ни все, ни даже многие из историй, услышанных мною, но одну все же приведу. Не знаю, чем она так уж сильно меня поразила: ни особого драматизма, ни эпохального символизма в ней нет. Однако есть такие исто-

⁷⁰ «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24, — но всякому светскому читателю эти слова более известны как эпиграф к «Братьям Карамазовым»).

⁷¹ «Надрыв в избе», «И на чистом воздухе» — названия глав из романа Достоевского «Братья Карамазовы».

⁷² «Алджернон. Так вы действительно ведете дневник? Чего бы я не дал за то, чтобы заглянуть в него. Можно?»

С е с и л и . О нет! (*Прикрывает его рукой.*) Видите ли, это всего только запись мыслей и переживаний очень молодой девушки, и, следовательно, это предназначено для печати. Вот когда мой дневник появится отдельным изданием, тогда непременно купите его» (Оскар Уайльд. «Как важно быть серьезным»).

рии, которые просто трогают нас, тогда как другие оставляют совершенно равнодушными. Итак...

Квартира

Одна девушка... и сразу же я оказываюсь в затруднительном положении. Мужчине чрезвычайно трудно писать о женщинах — особенно сегодня. Вот захотел бы я, например, описать внешность этой «одной» девушки. Скажи я, что она некрасива, и заслужил бы упрек в предвзятости и вообще в том, что по шаблону описываю девушку в терминах красоты, а следовательно, вижу в ней прежде всего объект сексистского внимания мужчины. К тому же, скажут многие, эта девушка наверняка красива, но я просто не понимаю этого, так как и мое восприятие красоты, скорее всего, по-мужски фотомодельно-шаблонно. Итак, я не могу сказать, что девушка некрасива. Но напиши я, что «девушка красива», и что изменится? Да ничего. Опять мне скажут, что я вижу ее прежде всего как объект и не могу сказать ничего по существу, замыкая все на оценке красоты. Итак, я не могу назвать девушку ни красивой, ни некрасивой, а потому пусть она будет просто *одной*, ну или *нашей* девушкой (*нашей* не в смысле национальности и не в смысле, что у нас с ней что-то было, но в смысле, что она является героиней *нашего* рассказа, а *нашего* не в том смысле, что я называю себя «нами» — то есть во множественном числе, но в том смысле, что и вы, как читатели, формируете массив восприятия этого рассказа, а уж что означает словосочетание *массив восприятия* я и сам не знаю). Итак, в одном городе, в одной чрезвычайно многодетной семье жила одна девушка⁷³. Город этот был, что называется, Мухосранском, коим наименованием награждают всякий город, находящийся в отдалении от столиц и не блистающий достоинствами, которые бы позволили ему называться как-то по-другому. А мечтой всякого, будь то юноши, будь то девушки из Мухосранска, естественно, является следующее действие: уехать либо в Москву, либо в Петербург — сначала учиться, а потом и работать. От описываемого в настоящем случае Мухосранска до Петербурга было ближе, чем до Москвы, что и предопределило переезд девушки в город на Неве. Итак, *наша* девушка приехала в Петербург, где поступила в университет, из чего мы можем сделать вывод, что хотя мы и ничего не знаем о ее предполагаемой красоте либо отсутствии красоты, зато мы точно знаем, что мозги у нее имелись. Наличие мозгов у девушки, слава небу, уже давно не считается чем-то из ряда вон выходящим, так что этот факт можно попросту отметить, специально его не комментируя. Да и отмечать не стоит — в самом деле, ну что удивительного в том, что девушка поступила в университет? Нет, все-таки рассказчик — явный сексист; даже его похвалы женщинам скрытым образом унижают их...

Итак, девушка приехала в Петербург, поступила в университет, а вот где она поселилась? В общежитии, естественно, где же еще? Из одной многодетной семьи она переехала в другую. И как дома она была вынуждена делить комнату с двумя родными сестрами, так и тут у нее опять появилось две общажные сестры. Девушки они были

⁷³ «В департаменте... но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякой частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, в *одном департаменте* служил *один чиновник...*» (Н. В. Гоголь. «Шинель»).

вполне себе уживчивые, и все-таки с какого-то времени *наша* девушка заметила, что изрядно устает от двух других, да и вообще ее все больше и больше мутило от общажной коммунальности. Перелом в ее сознании произошел следующим образом. Однажды с утра отменили учебную пару; наша девушка не знала, чем себя занять, и решила поехать в общагу. Приехав, она вошла в комнату, привычным жестом забросила сумку в какой-то угол, а сама присела на кровать. Что-то было не так. Довольно долго она не могла понять, что именно, понимая лишь, что просто сидеть и смотреть в потолок и на стены ей очень и очень нравится. С ней вроде бы не происходило ничего, и в то же время с ней происходило что-то непривычно хорошее. И вдруг до нее дошло: да ведь она совсем одна! Да ведь ее окружает почти полная тишина! Конечно, и раньше она на какое-то время оставалась в комнате одна, но еще ни разу с ней ни случилось такого вот момента «чистого тихого одиночества». Это было как озарение. Она вдруг поняла, что именно этого ей отчаянно не хватало в жизни — возможности остаться одной, наедине со своими эмоциями и мыслями, не нарушаемыми никакими звуками извне. Всю жизнь она, как и многие другие, варилась в нескончаемо навязчивой человеческой сутолоке и даже не понимала, что подобному существованию сельди в бочке может существовать и какая-то альтернатива. Но альтернатива, конечно, существовала, и ее даже было не так и трудно обозначить — отдельная квартира. Но понятно, что одно дело — обозначить «отдельную квартиру» (как ориентир), и совсем другое — въехать в обозначенную отдельную квартиру. Пока что об этом и мечтать не приходилось, а точнее говоря, отныне нашей одной девушке только и оставалось, что мечтать об этом. «Вот закончу учебу, устроюсь на работу и когда-нибудь...»

Прошло положенное время, учеба подошла к концу. Наша девушка достойно сдала госэкзамен и получила свой синий диплом в жизнь. Всего лишь синий? Не намек ли это на то, что получить красный диплом по силам только юноше? Нет, не намек. «Нет, намек. Сексизм так и прет из автора». Эх, и про диплом не скажи. И все же наша одна девушка получила именно синий диплом. Ну вот не дотянула она до красного. А как же милостиво, свысока, с барского мужского плеча дарованные ей мозги? А вот так. Не дотянула до красного, несмотря на все милостиво дарованные ей мозги, — и довольно об этом.

Получив диплом и сунувшись с ним туда и сюда, наша девушка в конечном счете устроилась и на работу, пополнив собой гигантскую массу офисного планктона, занимающегося некоей таинственно-абстрактной работой, но получающего за это реально-осязаемые деньги. Итак, наша девушка устроилась на некую работу, а вот где она поселилась? В коммуналке, естественно, где же еще? Коммуналка — это, конечно, далеко не отдельная квартира, но все же у девушки появилась отдельная комната — только для нее, и ни для кого больше. Когда она вошла в свою комнату в первый раз и вновь, как тогда (в общежитии), блаженно растянулась на собственной кровати, ей даже показалось, что и своей комнаты ей будет вполне достаточно, но тут она, естественно, просчиталась. Человек, имеющий тягу к уединению, никогда не почувствует себя в коммуналке как дома — даже в лучшей из коммуналок. А «лучших коммуналок», вообще говоря, и не существует; существуют только коммуналки выносимые и невыносимые — в этом смысле они очень похожи на общежития. Наша девушка жила во вполне «выносимой» коммуналке, и все же жизнь в ней была для нее невыносима. Одного только классически пропойного коммунального соседа, который нередко приходил домой «готовеньким» и чье пьяное бормотание (а иногда и пение) было слышно, кажется, во всей квартире, было достаточно, чтобы невзлюбить это место. А то еще вдруг и вполне тихому (и этим милому) соседу захочется послушать невероятно громкую музыку, а другой сосед пригласит гостей, которые заполнят собой словно бы все пространство и ее комнаты, хотя физически их вроде как тут и нет... Но нет, они тут,

конечно же они тут; они словно бы ходят по ее комнате и своим застенным, плохо приглушенным говором вовлекают ее в свое невеселое веселье. Да еще готовка... Как же наша девушка мечтала когда-нибудь прийти на свою собственную кухню и приготовить какую-нибудь нехитрую снедь — без необходимости вступать в диалог с соседом, который тоже что-нибудь готовит, или просто курит, или просто решил пошляться по кухне, так как шляться по своей комнате ему надоело. Да и общая неприкаянная неопрятность, присущая, кажется, всем коммуналкам, сколь бы неплохи они ни были, — все это тягостно воздействовало на *нашу* девушку.

Что же делать? Выход был очевиден, и мы уже сказали о нем — купить собственную квартиру. Ха! Не все очевидные выходы годятся для того, чтобы воспользоваться ими. Богатых родственников у нашей девушки не имелось, а сама она зарабатывала хотя и не сказать, чтобы мало, но и чтобы много — тоже не сказать. В общем, что-то около тридцати пяти тысяч рублей в месяц⁷⁴. Пять тысяч в месяц съедала плата за комнату, еще пять с небольшим тысяч съедала она сама, еще пять — общественный транспорт и прочие необходимые расходы. Оставалось двадцать свободных тысяч, и все они бережно откладывались нашей девушкой «на квартиру». Вы спросите: а как же одежда? Какая девушка устоит от трат на новые платья, туфли и прочие жизненно необходимые вещи?⁷⁵ Какая? Наша. Ни рубля она старалась не тратить на обновки и все еще ходила в тех же джинсах, в той же куртке и в тех же ботинках, в которых проходила все университетское время. Она не жила, она копила. Она не жила, она ждала. Но ждала она не какого-то чуда, вовсе нет... Дело в том, что ей повезло: у нее была хорошая знакомая, работающая в сфере недвижимости, а каждому человеку полезно иметь знакомого в этой сфере, ведь хотя мы все и люди как люди, но квартирный вопрос кого хочешь превратит в зверя. Так вот, однажды наша девушка напросилась в гости к своей хорошей знакомой — с тем, чтобы навести справки: может она рассчитывать на то, чтобы в зримом в будущем скопить себе на отдельную квартиру, или ей остается об этом только мечтать? Сразу оговорюсь, что вариант ипотеки наша девушка радикально отметала, не желая попадать в ипотечное рабство, в котором счастливо прозябает добрая половина жителей мегаполисов. Нет, она хотела купить квартиру так, чтобы та уже сразу стала безоговорочно *ее* квартирой. Ее — без всяких оговорок. Ну то есть безоговорочно, как я и сказал. Так зачем же повторять? Незачем, признаю.

Итак, знакомая нашей девушки для начала (так уж полагается) изрядно попугала ее, ознакомив с (не-)реальными ценами на рынке, но затем сказала:

— Знаешь, дорогая, тебе повезло. У меня есть на примете одна квартира и во вполне приличном районе, а стоит она всего лишь один миллион рублей. Не буду тебе рассказывать, почему так дешево, но такое иногда случается на любом рынке: на товар устанавливается несуразно высокая или несуразно низкая цена. Я придерживала эту квартиру для какого-нибудь особого случая и теперь вижу, что ты этот случай и есть. Я даже готова подождать три-четыре года — этого времени тебе должно хватить, чтобы скопить необходимую сумму.

Сказка, а не предложение! Оставалось произвести нехитрый расчет. Если откладывать по двадцать тысяч в месяц, то выйдет двести сорок тысяч в год, следовательно, четырех лет с самым маленьким хвостиком действительно вполне достаточно, чтобы мечта стала явью. Всего четыре года! *Целых* четыре года! Но это ведь не вся жизнь и даже не большая ее часть — вполне можно потерпеть. В общем, наша девушка сразу

⁷⁴ Отнеситесь к этой цифре как достаточно абстрактной — я понимаю, что покупательная способность рубля постоянно меняется, и в 2008 году она была совсем не той, что в 2022-м.

⁷⁵ Вот наш сексист-рассказчик и заявил о своем сексизме вполне открыто. Какие там мозги! Девушке платья подавай — она ведь всего лишь девушка!

же после состоявшегося разговора начала копить нужную сумму. Ее жизнь вдруг стала кристально ясной, а окружающая серость словно бы перестала затрагивать ее. Все крупные и мелкие неприятности разбивались о кокон целеустремленности, в котором она теперь существовала. Каждый день приближал ее к ТОМУ дню. Каждая зарплата становилась вехой на *Пути к цели*. День зарплаты и вообще-то священен для всякого работающего человека, но для нашей девушки он стал священным прямо-таки в религиозном смысле. Это был день приближения мечты, день обратного отсчета: до воплощения мечты осталось сорок месяцев, тридцать пять, тридцать. Наша девушка немного ускорила, кое-где подрабатывая и кое-где еще и лишая себя тех немногих радостей, которые пытались просочиться в ее жизнь. Только одно могло вывести девушку из себя — непредвиденные траты, без которых никак нельзя было обойтись. Так, однажды у нее жутко разболелся зуб, но лечить зубы — недешево, так что она стоически переносила боль до тех пор, пока не стало ясно, что переносить ее невозможно. Скрипя сердцем (то есть, пардон, я, конечно, хотел сказать «скрепя сердце», хотя «скрипя сердцем» звучит даже забавнее, а главное — точнее), она пошла к зубному и выложила за лечение почти десять тысяч — половину месячной нормы накоплений! В отместку она почти ничего не ела в этот месяц, что странным образом доставляло ей даже некоторое удовольствие. Стремление «ничего не есть», вероятно (а пожалуй, и очевидно), пустило слишком глубокие корни в женском подсознании, а может, даже и в сознании. Впрочем, я опять-таки не рискую ничего утверждать о женщинах вообще, сконцентрировавшись исключительной на одной, то есть на нашей девушке. Итак, она и голодала, и подмерзала, и вообще всячески подгоняла и загоняла себя, но все искупалось великой целью, и цель эта явственно приближалась. Вот уже и десять месяцев осталось, а потом и пять. В итоге, уложившись даже менее чем в четыре года, а говоря точнее — в сорок пять месяцев, она скопила требуемый миллион. Я не буду здесь описывать все технические перипетии покупки, скажу лишь, что и подруга не подвела ее (то есть не продала квартиру кому-нибудь другому), и цена на квартиру не выросла (хоть это и покажется многим неправдоподобным) — в общем, уговор остался в силе, и нашей одной девушке осталось заплатить свой один миллион и переехать в собственную однокомнатную квартиру. Что она и сделала.

Настал долгожданный миг, и она переступила порог СВОЕЙ квартиры. Конечно, по-хорошему еще требовалось немного обжить свежкупленное пространство, чтобы оно стало совсем *ее*, но уже и теперь квартира не была голой коробкой с четырьмя стенами: здесь имелись и необходимый минимум мебели, и работающее электричество с сантехникой, — а что еще нужно человеку для счастья! Только, чтобы его (ее) оставили в покое. И снова она опустилась на кровать, и снова, в третий раз в своей жизни, обрела чувство ни с чем не сравнимого блаженства, которое теперь уже никто не должен был отнять у нее. Вдоволь належавшись, она походила по квартире, внимательно осматривая свои владения, а потом зашла на кухню и осуществила свою давнишнюю мечту: просто сварила макарон, натерла немного сыра и спокойно поела. Кстати, сыр она купила подороже, ведь теперь ей уже не надо было экономить.

Все началось где-то... где-то на следующий же день. Но я даже и не знаю, надо ли описывать то, что началось? Мне кажется, все и так уже догадались. Квартира оказалась из тех несчастливых квартир, проживать в которых ввиду невыносимых соседей практически невозможно. Когда наша девушка в первый раз услышала столь знакомые ей звуки «веселья», означающие, что где-то неподалеку собралась компания людей, активно жаждущих чего-нибудь выпить и — еще более — что-то покричать, она лишь горько улыбнулась, но не сказать, чтобы сильно расстроилась, хотя шум совершенно не давал ей уснуть. В конце концов, всякое бывает, и даже своя квартира, увы, не является бункером, в котором можно было бы укрыться от окружающего мира с его не-

смолкаемым шумом. Что ж, пусть окружающий мир пошумит — все равно она у себя дома, и никто не помешает ей... Помешали и на следующий день (точнее, следующую ночь). А потом и на следующий. А когда наступило время выходного и наша совершенно невыспавшаяся девушка, хмуро позавтракав, стала составлять план на день (все еще надеясь спасти его), сверху на полную катушку включили магнитофон, затянувший бесконечную бум-бум мелодию. С самого утра! Это было уже слишком! Такого не случалось даже в коммуналке, да и в общежитии. Закипая от злости, она собралась идти наверх и выяснять отношения, но... но со слезами на глазах упала на кровать, и ничто уже не могло остановить ее рыданий. Она уже заранее видела все эти бессмысленные рожи, к которым бы ей пришлось обращаться, — а есть такие рожи, в которые можно только плюнуть, но никак не разговаривать с их обладателями. Они просто такие, какие есть, — и ничто на свете не сделает их другими. «Уроды, нелюди, дебилы...» — бессильно шептала наша девушка, лежа на кровати, на которой еще так недавно испытала настоящее блаженство обладания собственной территорией. «Уроды...» — шептала она в отчаянии. «Бум-бум» — равнодушно отвечал ей потолок.

Время шло — ничего не менялось. Своя квартира отказывалась становиться своей. Девушка снова оказалась в коммуналке. Единственным доступным ей развлечением стало инфантильное придумывание способов, коими она покалечила бы или умертвила своих соседей. Ну или просто проучила бы их, поставила на место, стерла в порошок, покалечила... Нет, в мечтах все заканчивалось, как минимум, сильными телесными повреждениями. Из всего великого и могучего мирового кинематографа наша девушка выбрала в любимые фильмы довольно плохонький блокбастер «Женщина-кошка», — но вовсе не потому, что он ей особенно нравился, а из-за памятного эпизода, когда обретшая суперспособности героиня вышибала дверь соседнего дома, в котором постоянно проводились шумные вечерники, не дающие ей уснуть. Что там женщина-кошка сказала своим остолбеневшим обидчикам: *«Слышите? Это называется тишина. О ней я всегда и мечтала. И не шумите больше»*. О, это был просто слоган ее жизни! О, вот бы и ей такие суперспособности! Но подобные мечты приносили нашей «девушке-некошке» мало радости, потому что она точно знала, что они так и останутся мечтами. Или нет?

Что же случилось дальше? А далее в округе начали пропадать люди, причем во время следствия было установлено, что все они имели репутацию чрезвычайно шумных персонажей... Но нет, вру, никто не начал пропадать, и вообще далее ничего не произошло. Я просто рассказал вам одну историю так, как ее услышал, а закончилась она именно в этот момент: когда переехавшая в свою квартиру девушка убедилась, что жить в этой квартире совершенно невозможно. Если бы это был художественный рассказ, то он вряд ли бы здесь закончился, но это не рассказ, это — жизнь, которая, конечно, тоже на этом не закончилась. Более того, всякий житейски искушенный человек может сказать, что нашей девушке вовсе не стоит отчаиваться и что она во всяком случае является владельцем недвижимости, которую она может продать или обменять и, соответственно, поискать счастья в другом месте. Все это верно, более того, и сама девушка, когда рассказывала мне эту историю (то есть когда я ее *подслушал* выше описанным способом), не выглядела какой-то особенно убитой своим горем. Но все равно я почувствовал, что это именно горе, я почувствовал все безысходное отчаяние девушки, мечтавшей остаться в одиночестве. Я и сам во время утренних прогулок нередко проходил мимо домов, в которых с самого утра гремела непереносимая бум-бум музыка, и невольно думал: а как бы я смог жить в таком доме? Как живут все эти люди, которые не хотят с самого утра превращаться в ничего не соображающих дебилов? Как живут все те, кто не хочет участвовать во всеобщем теплом шевелении бессмысленных разговоров ни о чем? Как они живут? Могут ли они позволить себе

дистанцироваться от внешних все заглушающих шумов, чтобы прислушаться к собственному голосу? И вот я встретил искомого человека и услышал его, то есть ее, грустную историю, и ее трагедия глубоко тронула меня.

И я встретил много таких людей и выслушал бездну таких историй, и что-то поменялось в моем то ли восприятии, то ли оценке реальности.

3 апреля 2008 года

Все стало на свои места. Все объяснено. Все ясно.

Выслушав-подслушав тысячу и одну жизненную историю, я вдруг понял одну очевидную вещь: до смерти родителей и встречи с Ивой я никогда не жил, я пытался выстроить математически выверенную модель жизни, — но жизнь категорически отказывается превращаться в такого рода модель. Жизнь — скорее нечто хаотичное, чем упорядоченное. Боже мой! — через что только не пройдешь, чтобы дойти до такой банальности, интуитивно понятной всем. Что же касается математики как высшего воплощения Порядка — да, математика в этом смысле ушла дальше всех. Я так сильно любил математику, потому что не хотел соприкоснуться с жизнью. Живое равно неконтролируемое. Сознание равно попытке контроля. Я хотел, чтобы вся моя жизнь без остатка подчинялась сознанию, но всякий человек, попадающий в поток жизни, очень быстро понимает, что он находится вне какой-то внятной системы координат. Не за что уцепиться.

И тут я подошел к пониманию важнейшего момента в своей жизни: я разгадал не только тайну своего псевдосуществования, но и тайну своих рассказов. Помните, я так любил рассказывать истории, и их так любили слушать, хотя меня эти рассказы вовсе не удовлетворяли. Я не мог понять, в чем тут дело, а вот теперь понял. Я отталкивался от математики, думая, что поскольку я могу извлечь ее как бы из своей головы, не соприкасаясь с реальностью (априори), то также можно поступить и с литературой. Все мои рассказы были *рассказами априори*; я пытался создать образ жизни до всякого опыта жизни. Но если математика может существовать априори, то литература — ни в коем случае. Именно это я и вычитывал в лучших книгах — в них был опыт, которого в моих рассказах не было. Мои рассказы, даже самые занимательные из них, были пусты, как красивый, но пустой воздушный шарик. Жизнь ткнула в этот шарик своим пальцем, и он предсказуемо лопнул. Но лопнула и моя жизнь, которая оказалась таким же пустым шариком, как и мои рассказы. Вопрос, который мне все еще необходимо было решить, состоял в следующем: а что мне теперь делать?

Во-первых, я понимал, что я все равно никогда не смогу просто существовать, поскольку существование в его чистом виде дается лишь за счет либо неразвитости, либо утраты, либо подавления сознания. Нет, я хотел жить сознательно раньше, и я хочу жить сознательно теперь. Следовательно, я все же не должен полагать, что ранее жил неправильно (жизнью пустого шарика); я просто должен внести в свою жизнь какую-то решающую корректировку. Я не могу больше заниматься математикой, поскольку это означало бы попытку вновь выстраивать априорный порядок, но в этот порядок я больше не верю. Точнее, я верю, что он возможен, но я не могу больше его выстраивать, поскольку в своей априорности он теперь для меня ненастоящий. Литература — дело другое. Художественная книга — это тоже не реальная жизнь, но она невозможна без соприкосновения с реальной жизнью. Литература — это отчаянная попытка сознания погрузиться в самую сердцевину хаоса жизни — с тем, чтобы с помощью слова вылепить-таки из него форму. Да, вот это задача! Да, вот это труд! Трудно найти труд более озадачивающий.

Но разве ТЕПЕРЬ я не готов? Разве вся моя жизнь не подвела меня к решению именно этого уравнения? Всю жизнь я пестовал столь милый моему сознанию Порядок, и вот

теперь я оказался поглощенным Хаосом существования. Что ж, сознание должно вернуть утраченные позиции, осуществив великий синтез⁷⁶. И я уже чувствую, как и мой собственный опыт столкновения с реальностью, и все то, что я услышал, начинает кипеть в котле моего разума, упорядочивающего весь этот опыт, — разума, творящего образ реальной жизни, или Воображения. Я уже вижу контуры той великой книги, которую могу написать. Да, жизнь сбила с меня спесь, и все же я не отрекись от стремления к Совершенству. Я могу жить лишь на горных пиках. Я хочу написать лучшую книгу на свете. Только так. Никак иначе.

17 апреля 2008 года

«Но разве теперь я не готов?» Видимо, не готов. Вот уже две недели, как я хожу с мыслью о книге, но к ее написанию так и не приступил. Неделю я ходил радостный, предвкушая, что «сейчас сяду и напишу», но на следующей неделе радость моя несколько поутихла. Напишу ли? Что там глаголет самурайская мудрость: «Есть намерение, будет и прозрение». Намерение-то у меня есть, а вот прозрения что-то не видать.

Чего-то все еще не хватает. Какого-то финального стимула. Какого-то решающего пинка.

22 апреля 2008 года

День начался вполне безбидно и довольно бессмысленно. Как и обычно (в последнее время), я встал с мыслями о книге и, как и обычно, быстро понял, что и сегодня не напишу ни строчки. Так что после завтрака, немного почитав (и не зацепившись ни за что из прочитанного), я отправился блуждать по городу. Дошел до Дома кино, посмотрел, что там — ничего интересного сегодня не показывали. Можно было зайти в Дом книги, но я и так заходил туда раз пять за последнюю неделю. «Когда не знаешь, что делать, — иди в книжный магазин». Даже эта беспроектная формула в последнее время не работала: вызубрив все книжные магазины города наизусть, я не знал, что мне в них делать. Конечно, есть еще беспроектные Русский музей и Эрмитаж. Да, все это есть, только настроения нету.

В общем, ничего не решив, я решил пока что зайти в метро, а там «придумается что-то». Ближайшая станция метро — «Гостиный двор», к ней-то я и направился. Зашел в пешеходный переход под Невским проспектом, перешел на ту сторону и на выходе к самой станции вдруг обратил внимание на девушку, сидящую на парапете. Это была Ива, она сидела спиной ко мне, высматривая кого-то в предстанционном пространстве. Я застыл на месте. Буквально остолбенел. Сколько времени я просто стоял и смотрел на нее, сказать не могу — думаю, что немного. Естественно, мне захотелось подойти к ней, но что я ей скажу? Все уже сказано между нами. Инцидент исперчен. Поэтому я стоял и смотрел, боясь, что и она вдруг посмотрит на меня, — и очень этого желая.

И тут подошел ОН. Ну конечно же, ОН, а кто же еще! Они ведь муж и жена. Как-то Ершов совсем вылетел у меня из головы, я совсем не ожидал его увидеть. Да и честно сказать, я с трудом его узнал. Ни привычного скепсиса во взоре, ни общей какой-то скрюченности, ни вечно помятого джинсового костюмчика, и, кажется, даже и жиденькие его волосы вдруг раскудрявились, а вместо перегарного амбре он распространял

⁷⁶ Здесь я полемизирую с Сартром: с его концепциями существования и литературы, как они изложены в романе «Тошнота». Антуан Рокантен хочет сбежать от принципиально неупорядочиваемой реальности в упорядоченный мир литературы (искусства); Михаил Лев хочет выстроить образ реальности, что становится для него возможным лишь после столкновения с реальностью. Антуан Рокантен именно что видит в искусстве некий априорный мир порядка, что принципиально неверно. Да, Искусство — это Порядок, но воспроизводимый от Хаоса жизни.

вокруг себя благоухание розы⁷⁷. Шучу, конечно, но он определенно помолодел (в свои сорок два он теперь выглядел на все... сорок один — ха-ха) и улыбался так, как будто вдруг разужнал секрет самого обыкновенного счастья. И уже через секунду этот секрет был раскрыт и для меня: Ива, с улыбкой вскочив с парапета, радостно обвинилась вокруг Ерша. В общем, я стал свидетелем классической встречи влюбленных друга в друга людей, а их совместная жизнь, очевидно (или — как ни странно), все еще пребывала в романтической фазе публичных объятий.

Не дай вам бог увидеть любимую в момент счастливого единения со счастливым соперником. Все, как казалось, умершее во мне родилось заново — с тем, чтобы тут же снова умереть. Я как будто бы снова встретил Иву, и мы вновь пережили все то удивительное... А потом... А потом... А потом пришел Ершов, а я должен удалиться. Несостоявшемуся гению предпочли законченного пропойцу. Любовная лодка разбилась о парпет. На станции метро «Гостинный двор».

Все это я пишу, уже приехав домой. Под конец напишу следующее: *«Не считайте меня малодушным, да ничего не поделаешь. Это не способ, конечно, но у меня выходов нет»*⁷⁸. Из дальнейшего станет ясно, о чем это я (хотя и так ясно).

Нет, стыдно свою жизнь чужими словами заканчивать. Напишу лучше предельно просто и кратко: «Никого не винить, я сам». Ха-ха⁷⁹.

5 апреля 2008 года (за 17 дней до прошлой записи)

В ящике папиного стола всегда лежал пистолет, причем папа любил шутить: «Если в ящике стола лежит пистолет, то кто-то из него обязательно застрелится». Маму эти шутки как-то не сместили, а один эпизод просто поставил дом на уши, — и это был эпизод с моим участием. В шутку я как-то взял пистолет и, уверенный, что меня никто не видит, приставил его к виску и щелкнул собачкой, присовокупив слово «бум». Естественно, что мама это увидела, матери рождены специально для того, чтобы видеть такого рода вещи. Что тут началось! Вообще, родители очень редко ссорились, но тут поругались всерьез, да и мне досталось. Мать поставила ультиматум: или отец скажет оружию прощай, или она скажет прощай этому дому. Говоря короче: «или пистолет, или я». Отец, посмотрев сначала на пистолет, а потом на мать, иронично-патетически возгласил, что выбирает ее⁸⁰. Это был не самый сложный выбор в его жизни,

⁷⁷ «Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, — ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. „Да, это тот самый дуб“, подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления» (Л. Н. Толстой. «Война и мир»).

⁷⁸ Здесь и чуть ранее («Инцидент исперчен», «Любовная лодка разбилась о быт») обыгрывается предсмертная записка Маяковского: «Всем: В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет».

⁷⁹ Многочисленные толкователи этого «ха-ха» в основном сходятся на том, что Михаил иронизирует над стремлением закончить свою жизнь своими словами, — на деле вновь прибегая к цитированию (предсмертной записки Ставрогина, разумеется).

⁸⁰ Отсылка к известной (всем советским и большинству российских детей) сценке из мультфильма «Трое из Простоквашино», где мальчик «дядя Федор» приносит домой кота, мама резко возражает против появления пушисто-четвероногого в доме, папа пытается защитить выбор сына, но мама непреклонна: «— Ну, если тебе этот кот так важен, пожалуйста, выбирай. Или он, или я. — Ну, я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота в первый раз вижу». Комизм ситуации выражается в том, что по предъявлении ультиматума папа все же сначала внимательно посмотрел на кота — как будто бы действительно мог выбрать его, а не жену.

но все же при этом он маму обманул и от оружия вовсе не избавился, а просто понадежнее припрятал. И я даже знал где; здесь я повторю ту заезженную, но тем не менее истину, что дети знают много больше, чем предполагают их родители. Так вот, отец просто засунул пистолет в коробочку, на которой было написано «скрепки», а саму коробочку засунул в самый дальний угол шкафа со всякой скрепочно-технической всячиной. Мать в эти мужские дебри никогда не углублялась, так что шансов раскрыть обман у нее почти не было. Тем все и закончилось: больше при жизни родителей пистолет не «стрелял».

И вот теперь я снова держу пистолет в руках. И, пожалуй, впервые в жизни я понял, почему отец был так привязан к этой вещи. В пистолете есть что-то чрезвычайно... увесистое... нет, не увесистое... внушительное... нет, тоже неточно... в нем есть что-то чрезвычайно... *мужское*. Да, вот нужное слово. В пистолете есть что-то на самом глубинном уровне родное для всякого мужчины. Конечно, я презираю концепцию «настоящего мужчины», равно как и отец был далек от ее культивирования, и все же где-то в глубине души каждый мужчина остается мужчиной. А мужчина немислим без оружия. Именно так. «Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина — для одохиновения воина; все остальное — глупость» — так говорил ницшеанский Заратустра. Тьфу ты, какая глупость, какая все-таки примитивная пошлость — вся эта зверино-самцовая мудрость. Но мое сознание раздвоилось: все мое воспитание говорит против пистолета в моей руке, но архаические силы нашептывают совсем другое: «Никогда у тебя не было такой настоящей, такой сильной вещи»⁸¹.

Вдоволь налюбовавшись на свое сокровище, я убрал его на прежнее законное место — в ящик стола. Почти не сомневаюсь, что теперь время от времени буду доставать его — и вновь любоваться. А может, как-нибудь и на прогулку возьму. Хотя зачем? Просто прогуляться. Ха-ха!

15 апреля 2008 года (за неделю до 22 апреля)

Зачем-то я сделал это. Все случилось как-то само собой — вот пришла мне вдруг в голову мысль, что надо «опробовать» пистолет; в тот же вечер я ее и осуществил. По-хорошему надо было сначала поискать подходящее уединенное место для «пробы», но в последнее время я редко что делаю «по-хорошему». Так и тут, ума у меня хватило только на то, чтобы вечером прийти в прилежащий к моему дому довольно запущенный парк и найти в нем достаточно глухой уголок. Там я достал оружие и, немного поколебавшись, нацелил его вниз и спустил курок. Выстрел получился неприлично громким, и тут же где-то неподалеку раздались мужские голоса: «О-па. Слышал?» — «Слышал, похоже на выстрел». Голоса звучали заинтересованно — так, как будто их обладатели сейчас же приступят к поиску стрелявшего. Я, естественно, не горел желанием быть найденным, так что поспешил ретироваться с «места преступления». Кругом и так полно психов, и не очень-то приятно осознавать, что ты, возможно, один из них⁸² — а что может сказать в свое оправдание человек, застуканный за таким занятием, как опробование пистолета в общественном парке? В общем, мне повезло, и я ускользнул из парка незамеченным и вскоре уже был дома. Каких-то особых эмоций пережитое происшествие у меня не вызвало. Все получилось неуклюже, неловко, глуповато. Но зато я теперь могу сказать, что стрелял из пистолета. А зачем мне это надо? Говорят, кто вкусил крови, хочет вкусить еще и еще. Но я думаю, что больше уже никогда не выстрелю. Впрочем, и крови никакой я не вкушал.

⁸¹ «Следствие ведет знатоки». «До третьего выстрела». Слова нашедшего пистолет пацана — Сеньки Гвоздарева.

⁸² «Ждешь в приемной у врача вместе с психами и опасаясь, что ты один из них» (Чарльз Буковский. «Макулатура»).

Снова 22 апреля 2008 года (реконструкция событий, сделанная постфактум)

Я подошел к столу, выдвинул ящик, взял пистолет и прошел в ванную, зачем-то закрыв за собой дверь на защелку, чего, живя один, я никогда не делал. Дыхание мое было резко учащено. Внимательно посмотрев на пистолет, я вдруг с ужасом понял, что сейчас ЭТО вполне может произойти. Я приставил пистолет к груди, но поза показалась мне неудобной. Тогда я сунул пистолет в рот — мысль о том, что одно неловкое движение руки может все прекратить... но ведь это последнее движение и может быть только неловким, словно бы случайным. Судорога, а не движение. Даже при самом стойком желании умереть человек умирать не хочет. Тогда я, разумеется, ни о чем таком не думал. Помню только привкус металла во рту — он был каким-то чужеродным, противоестественным, как сама смерть. Это вызвало у меня приступ тошноты, и я вытащил пистолет изо рта, положил его на раковину и некоторое время внимательно рассматривал самого себя в зеркале. Возбужденная невменяемость постепенно покидала меня. Мысль о том, что *это* сейчас произойдет, ушла. «А ведь всего одно мгновение, и меня не будет — со всеми моими мыслями». Эта новая мысль заставила меня улыбнуться и взять пистолет, уже не имея серьезного намерения покончить с собой, — теперь я просто играл в самоубийцу. Приставив пистолет к виску и все еще улыбаясь в зеркало, я... выстрелил.

Швейцария, 13 мая 2008 года.

Лечебное заведение: «Спокойствие, только спокойствие»

То, что Вы сейчас читаете отчет о моем самоубийстве, ясно показывает, что я не самоубился. Никаких чудес, голая статистика — попытка самоубийства не гарантирует стопроцентной смерти. Петля срывается с потолка под тяжестью тела, яд оказывается недостаточно ядовитым, пуля не наносит фатального ущерба. Пуля из моего пистолета как раз не нанесла. При этом выстрел оказался достаточно громким, чтобы обеспокоить соседей, а приехавшие врачи оказались достаточно искусными, чтобы спасти мою молодую жизнь, за что я им глубоко признателен⁸³. Потому что теперь я хочу жить. Прежняя — капризная, витавшая в эмпиреях, слишком много и слишком хорошо думающая о себе голова уже срезана с моих плеч, а новый, обновленный смертью человек уже знает, что ему делать. Прежний «Я» окончательно умер, новый «Я» бесповоротно родился. Наконец-то я превратился в то самое падшее в землю зерно, готовое принести «много плода». «Я» умерло, чтобы родилась ОНА. Да, теперь я точно знаю, что готов написать КНИГУ.

Итак, описав, как Вы меня просили, историю «болезни», которая довела меня до попытки самоубийства (что повлекло за собой необходимость «лечения»), я повторяю, что готов написать книгу, в виду чего настоятельно прошу Вас — моего лечащего врача — предоставить мне возможность получать по вечерам (или в какое другое время) бумагу и письменные принадлежности — поскольку компьютером нам пользоваться запрещено.

С уважением Михаил Юрьевич Лев

⁸³ «Кстати, совсем забыл вам сказать: может быть, вы собираетесь меня зарезать? Так знайте — я против. И потом меня уже один раз убивали. Был такой взбалмошный старик, из хорошей семьи, бывший предводитель дворянства, он же регистратор ЗАГСа, Киса Воробьянинов. Мы с ним на паях искали счастья на сумму в сто пятьдесят тысяч рублей. И вот перед самым размежеванием добытой суммы глупый предводитель полоснул меня бритвой по шее. Ах, как это было пошло, Корейко! Пошло и больно! Хирурги еле-еле спасли мою молодую жизнь, за что я им глубоко признателен» (И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все»⁸⁴. Вот уже почти двести лет прошло с того момента, как Гоголь написал свою знаменитую повесть о Невском проспекте, начинающуюся с этих незабываемых слов, — но многое ли изменилось с тех пор? Много. Хорошо хоть не изменилось само название, и в то время как город менял свои наименования как перчатки, Невский проспект неизменно оставался Невским проспектом, не став проспектом ни Ленина, ни Сталина, ни Зиновьева, ни Кирова, ни какого-нибудь другого владыки большого или меньшего калибра. Да, я знаю, знатоки истории (да и просто долгожители ленинградцы) уже кипят от переполняющего их возмущения. Исправляю свою ошибку: в 1918 году (и вплоть до 1944 года) Невский проспект был-таки переименован большевиками в «проспект 25 Октября» — в этот день, кажется, случилось какое-то не совсем безразличное для большевиков событие. Ну да бог с ними — с большевиками то есть. Лучше вернемся к Гоголю и его повести. Итак, многое изменилось за двести лет, и даже само наименование проспекта претерпевало изменения, но одно оставалось и остается неизменным: нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он по-прежнему составляет все. И по-прежнему Невский является всеобщей коммуникацией Петербурга, его визитной карточкой, его открыткой.

А вот расписание дня Невского, столь красочно описанное Гоголем, сегодня, конечно, уже недействительно. «Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих»⁸⁵. Но никакими горячими, только что выпеченными хлебами ранний Петербург уже не пахнет, равно как и подобных старух я что-то в нем не видал; во всяком случае, ни одна такая старуха ни разу на меня не наезжала. Также канули в Лету и английские Джонсы с французскими Коками, гулящие под руку с вверенными их попечению питомцами⁸⁶. Но что пришло на смену всему этому, каков распорядок дня сегодняшнего Невского проспекта? Начнем... но специфика сегодняшнего времени такова, что не очень-то и знаешь, с какого именно времени начать, — так как жизнь всякого большого города течет фактически круглосуточно. И все-таки начнем с утра, с того времени, когда открываются станции метро: именно это время символизирует собой просыпающийся город. Да, город просыпается, но он еще не проснулся, и, как и все в это полусонное время, он являет собой не самое ухоженное на свете зрелище — нигде еще не кипит жизнь, но всюду копошатся какие-то ее обрывки.

Невский проспект, впрочем, уже шевелится, а персонажи, его оживляющие, довольно странны, если не сказать эксцентричны. Чаще всего это проведенные всю ночь в каких-нибудь клубах и прочих ночных заведениях персонажи — в общем, все те, кто имеет привилегию заканчивать свой день тогда, когда основная масса горожан его еще только начинает. Вид у них или усталый, или довольно ошалелый; некоторые, правда, еще находят в себе силы продолжать ночное веселье, то есть горлопанить что-то бессвязное или бессмысленно смеяться. Постепенно, однако, начинает заявлять о себе один

⁸⁴ Н. В. Гоголь. «Невский проспект».

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ «В 12 часов на Невский проспект делают набегу губернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах» (Там же).

из двух мощнейших людских потоков; первый — это люди, с хмурой неохотой едущие на работу; второй поток — это, разумеется, люди, радостно возвращающиеся с работы домой. Конечно, чтобы в должной мере оценить все могущество этих потоков, лучше посетить какую-нибудь другую станцию метро в час пик, но речь у нас сейчас идет о Невском проспекте, поэтому ограничусь сделанной ремаркой. Итак, где-то с семи и где-то до девяти утра люди массово едут на все мыслимые работы и учебы, и только когда этот все обезличивающий поток несколько схлынет, можно наконец рассмотреть физиономию собственно Невского проспекта. Кто же ее определяет начиная с утренних часов и вплоть до самого вечера? Во-первых, туристы, а турист, как всем известно, есть человек преимущественно азиатской наружности с непременным фотоаппаратом в руке. Турист приехал в Петербург с вполне определенной целью: прогуляться по Невскому проспекту и запечатлеть себя на фоне Казанского собора; Спас на крови, впрочем, тоже подойдет. Еще туристу совершенно необходимо совершить какую-нибудь экскурсию — что же, по первому высказанному желанию его отправят хоть в Пушкин, хоть в Петергоф, хоть в Гатчину, а то и просто на экскурсию по рекам и каналам Петербурга, кои, как известно, не уступают венецианским, а если и уступают, то ведь тем, кто не был в Венеции, это все равно неизвестно. Гондол здесь, правда, не держат, но вполне себе симпатичные пароходики всегда под рукой — если только погода позволяет речные прогулки, а она позволяет их со значительными сезонными ограничениями. Что поделаться, климат. Климат, конечно, тоже меняется, и, возможно, лет через двести Венеция окончательно утонет, а вот гулять (водно, а не ледно) по рекам Санкт-Петербурга (или как там будет называться этот город) можно будет и зимой. Поживем — увидим.

Но если вы не турист и у вас в руке нет фотоаппарата, то что вы делаете на Невском в это время? Трудно сказать наверняка. В любом мегаполисе мира скапливается значительное число людей, обладающих свободным временем, причем в любое время суток. Откуда они взяли свободное время? Бог его знает. Что они собираются с ним делать? Черт его разберет. Одно несомненно: всю эту празднующую публику почему-то неудержимо тянет в центр города. Да оно и понятно: всегда приятнее пошатаваться именно в центре, а не где-нибудь на периферии. Вот они и шатаются, входя в одни двери и выходя из других. Вообще, если смотреть на жизнь совсем уж со стороны, то она и покажется не более чем «входом в» и «выходом из» разнообразных дверей. Проблема такого взгляда состоит, разумеется, в том, что не видно, что же происходит за этими дверьми. Проблема взгляда более искушенного состоит в том, что он слишком хорошо видит — чаще всего за дверьми не происходит ничегошеньки особенно интересного. Вот и за дверьми различных зданий Невского проспекта происходит в основном шопинг, перекус да просмотр фильмов. Да, еще покупка книг, конечно, но книжные покупки язык не поворачивается назвать шопингом. Хотя — смотря каких книг, конечно.

Но давайте все же попытаемся приглядеться к индивидам, шатающимся по Невскому. Может быть, это студент, прогуливающий пару; может быть, это человек, работающий на дому по свободному графику и, соответственно, совершенный хозяин своему времени; может быть, это подруга-супруга богатого папика, который и мысли не допускает, чтобы его дражайшая половина была занята чем-то, кроме походов по магазинам; может быть, напротив, это ветреный молодой человек, который вольно прогуливается, в то время как холодная бизнес-леди, купившая его для расслабления своего тела, загружает свой мозг в офисе; может быть, это человек, меняющий работы как перчатки и в настоящее время не занятый ничем определенным; может быть, это житель пригорода, выбравшийся за тем или иным делом в Питер, — количество всех этих «может быть», может быть, переваливает за сотню. А вот идут две девушки в обнимку — идут и смеются так заразительно весело, как будто бы нашли разгадку тай-

ны жизни. Но — нет, они просто очень молоды, и смех для них является почти физиологической, почти ежесекундной потребностью. Вот и другая девушка — девушка с рюкзаком. Она вдруг вышла из общего людского потока, встала на обочине и задумчиво смотрит в небо. Простояла так целую минуту и влилась обратно в общий поток. Что она увидела в небе? Не знаю. Зачем я упомянул о рюкзаке? Тоже неизвестно. Но если бы не рюкзак, я бы, может, и не запомнил небесную девушку, а так — запомнил. Поэтому и упомянул.

Но мы (то есть я) уклонились (то есть уклонился) в сторону. День празднования и туризма тем временем подходит к концу, а ближе к вечеру Невский начинает набухать вторым гигантским человекопотоком — люди идут с работы. И тут же, посреди этого потока, зарождается подлинная жизнь Невского проспекта, а ярче всего он живет именно в вечерне-послерабочее время. Можно сказать, до этого он только готовился к жизни, а теперь он наконец живет. Люди поработали, и теперь они думают о том, как бы им немного развлечься — с тем, чтобы хотя бы на секунду забыть о необходимости завтра с утра снова отправляться на работу. Но это — завтра, а пока что: прощай работа, привет развлечение!

О, великое и ничтожное развлечение! Кто написал о тебе лучше Паскаля? Никто. А что он написал? А вот и не скажу — сами почитайте. А какое первейшее из развлечений? Конечно же — кино. А кто лучше всех сказал о кино? Конечно же, Ленин. *«Важнейшим из искусств для нас является кино»* — эту фразу Ленина цитируют очень часто, и всегда после ее цитирования находится человек, который прочтет вам мини-лекцию на тему, что *«на самом деле Ленин сказал не так»*, после чего приведет вам фразу якобы в подлиннике, и тогда она прозвучит следующим образом: *«Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк»*. После этого, скорее всего, появится еще один человек, который с фактами в руках докажет вам, что прав все же первый цитировавший, и ни про какой цирк и безграмотность Ленин (во всяком случае, в данном контексте) ничего не говорил. В общем, люди развлекаются, как умеют. Пospорили, погалдели — глядишь, время и прошло. И хотя я сторонник фактов и поэтому вынужден согласиться с подлинной, то есть с первой, редакцией цитаты, но вторая — про «безграмотность, народ и цирк» мне нравится больше. Потому что именно в этом и состоит вся суть кинематографа, если рассматривать его с точки зрения массового времяпрепровождения. «Пойти в кино» и «выбросить все из головы» — почти синонимичные фразы. Что такое кино? Гарантированное забытие на два, а то и два с лишним часа. Просто подарок небес — уже даже не опиум, а самый что ни на есть героин для не знающего куда себя деть народа. И так, пока народ жаждет развлечений, то есть вплоть до конца света, кино является и будет оставаться важнейшим из искусств. Все в кино! И уж тут Невский проспект не даст маху — едва ли вы пройдете по Невскому и десять метров, не наткнувшись на какой-нибудь кинотеатр (явное преувеличение!). Что там у нас показывают сегодня? Что-нибудь всегда да показывают. Не в этом кинотеатре, так в том. Забытие гарантировано.

Но не будем слишком плохо думать о людях — ведь не одними зрелищами жив человек, но еще и хлебом. Что ж, в плане поесть-попить-пообщаться Невский тоже предоставит вам достаточное количество разнообразных более, а скорее менее демократичных по ценам заведений. Оно конечно, такими заведениями полон весь город, но ведь и кинотеатров достаточно во всем городе, однако Невский есть Невский, — а он всему придает печать respectable успешности. Так что если вы просто сходили в кино — это ерунда, но если вы сходили в кино на Невском... То же касается магазинов, кафе и всего прочего. По большому счету, на Невском нет почти ничего такого, чего нельзя было бы найти на какой-нибудь другой улице или другом проспекте Петербурга. Почему же всех тянет именно на Невский? Глупый вопрос: потому что это Невский!

Но я думаю, что из меня выйдет плохой гид по вечернему Невскому проспекту. Чтобы посвятить вас в тайны всех удовольствий, которые он может вам подарить, надо бы самому вкусить хоть какие-то из этих удовольствий, но автору этих строк сделать этого так и не удалось. Дом книги — вот его постоянная нельская «прописка». Заходите, может быть, и пересечемся.

Пора, однако, заканчивать сию вводную повесть о Невском проспекте и начинать непосредственное действие третьей главы. Я надеюсь, что вы еще помните, как в прологе рассказываемой вам сейчас истории в поезде встретились три человека, один из которых оказался наследником огромного состояния (Александр Сергеевич Томский), другой (Михаил Юрьевич Лев) — автором книги, истории которой была посвящена вся следующая за первой, то есть, попросту говоря, вторая глава, а третьим — некий Вася Глупов — человек, пока что совершенно не проясненный. Томский забрал рукопись для ознакомления и назначил Михаилу (и Василию — чтобы вручить тому миллион долларов) время и место встречи: восемь часов вечера в своем офисе на Невском проспекте — на следующий день после их встречи в поезде. Что после этого делали Александр и Василий, нам неизвестно, а вот за Михаилом мы имеем возможность проследить.

В ночь по прибытии домой Михаил спал очень плохо. Он лег рано и, быстро заснув, окунулся в поток странных и тревожных видений. Он видел человека, который умер от разрыва сердца при бегстве от врагов, — тот обливался потом, смешанным с кровью и выходящим через все поры кожи. Он видел людей, забывших о своем бытии и имени, лежавших замертво на останках других мертвецов. Он видел женщину, одетую в черное, с белым платком на голове, который казался вдвое большим, чем ширина ее плеч. Он видел льва с ягненком в лапах; лев этот немногими движениями языка снял всю шкуру, покрывавшую ягненка, и такого голого сожрал. И раки (в его тревожном сне) умирали в кипящей воде; великие леса обращались в пепел; невод был схвачен и унесен яростью рыб. Где-то тут Михаил и проснулся, встал и подошел к окну, к которому его словно бы притягивала какая-то необоримая сила. И что же? Выглянув в окно, он увидел вовсе не городской пейзаж, но облако в виде огромной горы, полной горящих утесов, так как лучи солнца, находившегося у багрового горизонта, окрашивали его в свой цвет. И это облако притягивало к себе все маленькие облака, вокруг него находившиеся, большое же не сдвигалось с места, сохраняя на своей вершине свет солнца до половины второго ночи, — так велика была его необъятная громада! А около двух часов ночи задул сильный ветер, и облако-гора начало таять, — тут-то Михаил и проснулся. Оказывается, это тоже был сон!

Но реальность оставалась все такой же странной и тревожной, и появились двое пыльщиков бревен; сначала Михаил видел только их злые, перекошенные от напряжения лица — попеременно лицо то одного, то другого — и слышал жужжаще-скрежещущий звук; потом его глаза опустились чуть ниже, и он увидел их руки, с разных сторон держащие громадную пилу и движущиеся в такт процессу пиления; наконец, хотя ему и очень этого не хотелось, он увидел, нет, точнее, он понял, угадал, что пилят-то вовсе и не бревно — нет, они пилили... его, Михаила! Сначала ему было просто щекотно, постепенно щекотка сменилась легкой режущей болью, затем ему стало по-настоящему больно и, наконец, стало просто невмоготу.

Тут-то он и проснулся⁸⁷. И это тоже был сон!⁸⁸ Но на этот раз Михаил сразу же понял, что теперь уже не спит — правда, радоваться пробуждению тоже не приходилось;

⁸⁷ Я думаю, многим доводилось просыпаться, будучи убитыми во сне.

⁸⁸ Сновидение Михаила представляет из себя с одной стороны склейку из различных литературных описаний, сделанных Леонардо да Винчи (басен и предсказаний); постоянные же пробуждения взяты из «Портрета» Гоголя.

он чувствовал, как будто во сне его действительно распилили на куски — на грудь давила непомерная тяжесть, и он совершенно не мог пошевелиться. Ничего подобного он никогда ранее не испытывал — очевидно, он пережил или, точнее, переживал что-то очень похожее на сердечный приступ. Надо сказать, что Михаил не держал дома никаких лекарств от-для сердца, а если бы и держал, то как бы он смог дойти до кухни и взять необходимое, если он не мог пошевелиться без резкого обострения боли в области груди? В общем, оставалось только лежать и ждать, что ему как-то полегчает. Он лежал и ждал. Пошевелившись где-то через полчаса, Михаил обнаружил, что боль, кажется, уже не такая острая. Еще через какое-то время его вдруг начала бить крупная дрожь, которую он никак не мог унять — однако в целом он чувствовал, что кризис позади. Полежав еще какое-то время, он решил попробовать встать — и попытка удалась. Он чувствовал себя очень слабым и разбитым, но уже не был в плену утренней беспомощности.

«Хорошенькое начало дня», — подумал Михаил. Как и многие люди, он придавал тому, как начинается день, своего рода магического значения. Если день начался хорошо — то он и будет хорошим, если плохо — плохим. Была, правда, и своего рода доблесть в том, чтобы достойно прожить плохо начавшийся и еще хуже продолжающийся день. Но бывали и такие дни, которые можно лишь кое-как пережить, тщетно стараясь минимизировать потери. Такие дни, когда ничего не получается, а реальность как будто специально с каждым новым часом подбрасывает какую-нибудь новую неприятность. В такие дни остается лишь покориться року, надеясь, что его удары, будучи болезненными, все же не окажутся смертельными. Михаил надеялся, что сегодняшний день не станет таким. Но пока что все валилось из рук. Оно и неудивительно — за годы, проведенные в лечебнице, он привык к определенному распорядку, теперь же этот распорядок приходилось придумывать заново.

Наскоро позавтракав, Михаил с облегчением отметил, что хотя бы тело, похоже, оправилось от ночной встряски. Он вспомнил, как после инцидента с пистолетом по многу раз проходил различные медосмотры. В целом он был на удивление здоров, а особенно ему запомнилась фраза кардиолога, озвученная после «сдачи» ЭКГ: «Могу вас обрадовать — с таким сердцем, как у вас, живут до ста лет — если вы, конечно, опять не вздумаете самоубивать себя». Но Михаил больше не собирался самоубиваться, а фразу про сердце с этих пор частенько повторял про себя. «С таким сердцем, как у меня, живут до ста лет», — сегодня утром эта фраза звучала, пожалуй, несколько комически. Но, наверное, раз в сто лет и здоровое сердце имеет право пошалить. Удовлетворившись таким объяснением, Михаил по привычке начал составлять план на день. План вышел простым: надо как-то убить время до семи часов вечера, а потом уже можно идти на встречу с Томским. Пожалуй, я не стану посвящать вас в детали того, как Михаил убивал время, скажу лишь, что день по-прежнему не задавался. На улице выходить не хотелось, книги не читались, телевизор не смотрелся, а выход в Интернет и вовсе отсутствовал — ввиду долгого отсутствия потенциального пользователя.

Оставалось сесть в кресло и смотреть в никуда, что Михаил и сделал. Время определенно было относительно — после часа тоскливого сидения обнаружилось, что прошло всего лишь десять минут. Тогда он обратился к своему любимому и почти безотказному средству — достал альбом с прекрасными репродукциями Леонардо да Винчи и начал неторопливо его листать. Первая же страница, где репродуцировался знаменитый туринский автопортрет Леонардо, привычно привлекла его внимание. Сколько раз он рассматривал этот рисунок и сколько загадок он ему задал! Михаил вспомнил свой давний спор с матерью, но сейчас он, пожалуй, был с ней согласен: «Разочарованный». Да, именно этим словом он бы описал то, что увидел: «Портрет уставшего, разочарованного человека». Опущенные уголки губ, глаза, в которых затаилась мука.

И это Леонардо на пике своей славы! Непостижимо! Через минуту он, правда, смог переубедить себя, что по-прежнему видит нечто совсем иное — благородного старца, в чьих глазах читалась неизмеримая глубина мудрости. И всегда он видел одного из двух Леонардо — то Леонардо разочарованного, то Леонардо умудренного — и не мог понять: какой же из этих двух Леонардо «истинный»? И вдруг Михаил увидел Леонардо, единого в этих двух ликах — лике страдания и лике познания. Ну, конечно же — истинен и тот и другой! Разочарованный и усталый. Умудренный и величественный. Одно другому не противоречит. Можно сказать, что для себя Михаил только что «разгадал» туринский автопортрет. «Да, вот так вот бьешься, бьешься над какой-нибудь проблемой, а потом случайно возвращаешься к ней, а решение уже перед тобой. Очевиднейшее из решений», — подумал усталый, умудренный, во многом разочарованный, но отчасти все еще величественный Михаил.

Время между тем продолжало быть относительным, — не просидев с альбомом и пяти минут, Михаил обнаружил, что уже вечер. Он встал с кресла, и на секунду ему показалось, что сердце опять готово совершить какой-то кульбит, но — обошлось. «С таким сердцем, как у меня, живут до ста лет... а все же надо будет купить хоть валидол», — подумал Михаил и начал одеваться.

И вот в семь часов вечера Михаил Лев вышел из своей квартиры и вскоре уже вступил и на Невский проспект — со стороны площади Восстания. До офиса Томского отсюда было идти еще довольно далеко, но Михаила это вполне устраивало; он для того и вышел из дома в семь часов — чтобы не торопиться и собраться с мыслями. Впрочем, собраться с мыслями не очень получалось, они все куда-то разбежались. Да и как им не разбежаться — при таких-то странных сюжетно-жизненных поворотах! Гармонично развитый человек эпохи Возрождения, окутанный родительской любовью; потом человек, утративший родителей, а вместе с ними и все свое прошлое — превратившийся из сына лучшего из отцов в сына безвестного, хотя и очаровательного наркомана (в существовании которого он, впрочем, не был уверен); потом несостоявшийся профессор математики; потом неудачливый влюбленный; потом пациент, как ее ни назови, а все же психлечебницы; потом автор книги, написанной от руки и никем не читаемой, а теперь уже автор книги, судьба издания которой решается, возможно, в этот самый миг.

Конечно, Михаил был уверен, что он написал сильную книгу, и его уверенность имела под собой куда больше оснований, чем уверенность тысяч других авторов, написавших книги и уверенных в том, что они написали именно сильные, а вовсе не слабые книги. Жизнь Михаила вообще сложилась так, что он был базово уверен в своих действиях, а результаты этих действий впоследствии всегда оправдывали эту уверенность. Но так было лишь до времени событий, надорвавших его жизнь. С тех пор базовая уверенность покинула его, но ведь КНИГА и была написана в том числе и для того, чтобы вернуть ушедшую из-под его ног жизненную почву. И вот теперь его авторская судьба должна была решиться. Томским. Пожалуй, фигура Томского вызывала некоторые вопросы, но разве и он сам, Михаил, не вызывал вопросы? Все было странно в этом деле. Но нет, лучше вовсе не думать об этом, а то получится, как в случае с Ивой, когда он предложил ей идти по жизни вместе. Тогда он тоже ждал решения своей судьбы: счастливого «Да» или оглушительного «Нет», но получил нечто среднее, — пусть, мол, все идет, как идет. И куда все пришло? Нет, лучше не бередить старые раны. Но и тут, с книгой, наверняка не произойдет ничего такого, чего он ожидает — не будет ни восторженного признания, ни пренебрежительного отказа. Скорее всего, Томский еще и вовсе не прочел рукопись — дел-то у него наверняка невпроворот. Только мы сами ставим себя в центр всего происходящего — для всех остальных события нашей жизни более-менее периферийны. *«Я думаю, что Томский думает обо*

мне, но ведь и я сам думаю о Томском лишь в контексте своей жизни; вот и он если и думает обо мне, то совсем не так, как думаю о себе я», — подумал Михаил. Философия довольно сомнительная, и он сам мог бы тут же привести ряд контраргументов, но сейчас ему не хотелось погружаться в бесплодные споры с самим собой. Сейчас он шел по Невскому и, спасаясь от погружения в себя и свои мысли, сконцентрировался на внешнем, то есть на самом проспекте, который тем временем вступал в лучшую фазу своего существования: безликая волна идущих с работы людей постепенно трансформировалась в специализированные группки, состоящие из тех, кто хорошо знал, как извлечь из Невского проспекта максимум всего того таинственного, удивительно-го и приятного, что, вероятно, можно из него извлечь.

Михаил, с непривычки несколько оглушенный шумами большого города (не забудем, что он десять лет наслаждался пасторальной швейцарской тишиной), довольно быстро освоился и даже с некоторой грустью отметил, что не видит кругом буквально ничего нового. Он стал другим, но Петербург остался тем же. Все те же люди шли во все тех же направлениях — все к тем же целям. Ему даже показалось, что в тех же самых кинотеатрах идут все те же самые фильмы; разве что вместо какого-нибудь «Форсажа-100» показывали «Форсаж-101». Этим прогресс и исчерпывался. «Оно и понятно, — думал Михаил, между делом миновав Аничков мост, — революции в нашей жизни не всегда совпадают с историческими революциями, да и облик городов меняется не так быстро, как судьбы его жителей». И опять это был сомнительный тезис⁸⁹, и Михаил уже подыскивал подходящий контраргумент, когда услышал уличных музыкантов, отвлекших его внимание на себя.

Первые эмоции разочарования схлынули, и постепенно Михаил поддался очарованию теплого сентябрьского вечера на Невском проспекте. Он и раньше не раз почти отдавался этому чувству — как будто вот-вот совершится что-то чудесное, и все эти идущие по Невскому благополучные люди вдруг замрут и скажут: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно», — но они никогда не замирали, и ничего чудесного никогда не совершалось⁹⁰. Вот и сейчас, остановившись возле группы уличных музыкантов, распевających нечто совпадающее с общемировотворяющим вечерним эффектом, Михаил почувствовал, что этого просто не может не произойти — некоего прорыва ко всеобщей nirване. Но никакой nirваны опять не случилось, а вместо предполагаемой nirваны сердце Михаила, о котором он уже и думать забыл, напомнило о себе самым неприятным и резким скачком. «Да что ж такое сегодня!» — чертыхнулся Михаил и отошел к стене, у которой и постоял некоторое время, ожидая, пока сердце утихомирится. Но оно вовсе не торопилось утихомириваться, так что пришлось поискать сидячее место, каковое и было найдено на близлежащей автобусной остановке. Михаил присел. Чувствовал он себя довольно погано. Тяжесть в груди все никак не рассас-

⁸⁹ Здесь профессор Толль, автор книги «Вопиющие ошибки и неточности, найденные мною в „М. Ю. Л.“», гневно восклицает: «Еще бы не сомнительный! За десять с лишним лет ничего не изменилось — ни в Петербурге, ни в России! Не было ни Крыма, ни санкций — ничего. Я даже не знаю, чей аутизм в данной ситуации более предосудителен — аутизм ли автора, создавшего такого персонажа, или аутизм самого персонажа? Те же люди, видите ли, идут все к тем же целям. А к каким вообще целям можно идти по улицам? Конечно, к тем же. И что значит — „те же люди“? Михаил с ними со всеми лично знаком? В лицо их узнал? Нет, они для него „те же“ именно потому, что он, как не знал их раньше, так не знает и теперь; они для него — некое безликое пятно на периферии сознания, несмотря на все якобы подслушанные им истории».

⁹⁰ «В Петербурге, так же, как и в Москве, атмосфера нежных, любящих людей окружила Пьера. Он не мог отказаться от места или, скорее, звания (потому что он ничего не делал), которое доставил ему князь Василий, а знакомств, зовов и общественных занятий было столько, что Пьер еще больше, чем в Москве, испытывал чувство отуманенности, торопливости и все наступающего, но не совершающегося какого-то блага» (Л. Н. Толстой. «Война и мир»).

сывалась — наверное, надо было уже и какие-то серьезные меры предпринимать, но Михаил не знал какие. Пришлось прибегнуть к привычному самовнушению: «С таким сердцем, как у меня, живут до ста лет», — напомнил он себе. И действительно, уже минут через пять ему показалось, что с ним все более-менее в порядке и он может продолжать свой путь. Он встал со скамейки и пошел дальше. Вот уже остался позади и подземный переход у станции метро «Гостиный двор», скоро он должен был дойти и до офиса Томского. Но когда до офиса оставалось всего ничего, Михаил вдруг услышал, что к нему кто-то обращается:

— Рад приветствовать, хоть и не уверен, что это взаимно.

Михаил обернулся и увидел рядом с собой смутно знакомое лицо. Да это же вчерашний, как там его? Василий, кажется, — еще фамилия нелепая... Судя по всему, явление Василия не особенно воодушевило Михаила, и невоодушевление это слишком явно отразилось на его лице, потому как следующими словами Василия были:

— Бьюсь об заклад, что я знаю, о чем вы сейчас подумали.

— О чем же?

— «Черт его принес. Вот последний человек, которого мне сейчас хотелось бы видеть, и, естественно, я вижу именно его».

— А вы, конечно, ждете, что я сейчас скажу: «Ну что вы...» и прочее в этом роде?

— Нет, я привык не только к тому, что мне не рады, но и к тому, что при мне (и в отношении меня) необязательно следовать даже и привычным формулам вежливости.

— Ах да, припоминаю. Вы и в поезде вроде как успели самоуничтожиться до предпоследней степени, а теперь, видимо, собираетесь уничтожиться до последней.

— Какое меткое замечание! Сразу виден писатель. Вы ведь сейчас к Томскому идете — и как раз по поводу вашей книги?

— Верно. А, вспомнил: вас ведь тоже пригласили, так что наша встреча не случайна.

— Еще одно меткое замечание! Не случайна, а исключительно закономерна. Если два человека идут в одно и то же место, то вероятность их встречи по дороге можно считать достаточно высокой. Наша с вами встреча только что блистательно подтвердила этот теоретический тезис. Но знаете, что мне всего приятнее?

— Что же?

— Что вы таки вспомнили меня. Боюсь, Томский уже совершенно обо мне забыл.

— Вам ведь сказали: получите вы свой миллион.

— И об этом помните? Но что такое для вас миллион? В сравнении с вашими-то ожиданиями! Верно?

— Моих ожиданий попрошу не трогать.

— «Не касайтесь хрустальной мечты своими грязными лапами»⁹¹. Так, что ли?

— Примерно. Самоуничтожительное «грязными» вы опять-таки добавили от себя.

— Что делать, что делать... Вы слышали, конечно, о постулате: «Познай самого себя!» Вы не представляете, как я долго пытался постигнуть его смысл. То есть не вообще, а что этот постулат означает в отношении меня самого? Видите ли, предполагается, что познать самого себя — значит, совершить какое-то духовное восхождение — вроде как забраться на горные пики духа. Ну а я, познавая себя, всегда скатывался в какую-то помойку. И познав себя совершенно, я лишь понял, что являюсь полным ничтожеством. Отсюда вопрос: а стоит ли в таком случае познавать себя?

— Нам, пожалуй, стоит присесть, — с усталым вздохом сказал Михаил. — А вообще, Невский проспект, да еще в это время, по-моему, не самое подходящее место для подобного разговора.

⁹¹ «— А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах.

— Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства, — строго ответил великий комбинатор, — не касайтесь ее своими лапами»

(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

- Вы хотели сказать — самое неподходящее. О, я все делаю невпопад и не к месту, так что ничего удивительного. А где это мы? Это же Дом книги!
- Конечно. Стоит мне только выйти на Невский, и ноги совершенно автоматически приводят меня к Дому книги. Проверено многократными опытами.
- Все это прекрасно, но мы прошли мимо офиса Томского!
- И правда прошли, но время пока терпит. Давайте все-таки присядем минут на пять, а потом уже отправимся к месту назначения.
- Что, мандраж?
- Если хотите, — ответил Михаил, присаживаясь на круглую, выполненную в форме полумесяца каменную скамейку (на пересечении Невского с каналом Грибоедова).
Вся Глупов поспешил занять свободное место рядом с ним и тут же сказал:
- Забавно...
- Что именно?
- Да так... Рассказать, что ли?
- Что вы там бормочете? И так ничего не слышно. Может, просто посидим и полюбуемся на вечернюю жизнь Невского?
- Давайте, — согласился Василий, и около минуты собеседники сидели не разговаривая, смотря на проезжающие мимо машины и проходящих мимо людей. Михаил прислушивался к своему сердцу — вроде бы оно успокоилось. Он бы с удовольствием просидел в молчании минут хотя бы пятнадцать, но Василий неожиданно выпалил:
- Я хочу рассказать вам историю моей жизни. Или — «своей» жизни? Как лучше: своей или моей?
- Все равно.
- Да? Конечно, вам все равно — жизнь ведь не ваша. Хе-хе... Ну раз все равно, то я хочу рассказать вам историю *своей* жизни. Нет, *моей* кажется, все же лучше. Впрочем, вы правы — все равно. Моя или своя — разве это жизнь? А?
- ...
- В общем, чтобы не повторяться, повторюсь... Повторюсь, чтобы не повторяться — что-то совсем я запутался.
- Вы хотели рассказать историю своей жизни.
- Вы меня спасли просто — какая точная, лаконичная формулировка! Сразу видно... Впрочем, это я уже тоже говорил. Да, я хочу рассказать вам историю своей-моей жизни.
- Прямо здесь? Прямо сейчас?
- О, она совсем короткая и, как это ни странно, имеет касательство к вашему мандражу.
- Ого... и каким же это образом?
- Пока не расскажу — не узнаете.
- Хорошо, рассказывайте. Видно такая моя судьба — слушать рассказываемые людьми истории.
- А потом трансформировать их в книги?
- Какое меткое замечание! Клянусь, ваша история ляжет в основу моей следующей книги, так что уж постарайтесь, чтобы она была интересной.
- Слушаюсь и повинуюсь. Так вот, судьба моя была predetermined с самого рождения. Моя бедная мать родила двойню: мальчика и девочку. А сказали ей, что она родила только девочку. Вот вся история.
- Не очень понял. А вас-то куда дели?
- Просто забыли обо мне. Отложили в сторону и забыли.
- Сомневаюсь, что это возможно.
- Все возможно. Любая нелепость, которую вы только можете себе вообразить, — поверьте, она вполне возможна. Я, конечно, не знаю, как это все произошло чисто тех-

нически, но обо мне реально забыли, а вспомнили лишь на следующий день и сказали счастливой матери, что она родила не только девочку, но еще и мальчика. Представьте себе ее изумление! Неудивительно, что все последующее время она относилась ко мне так, будто ставила под сомнение само мое существование; и все другие относились ко мне точно так же. Я всегда был пустым местом; что я есть, что меня нет — никакой разницы. Даже мой детский ор и тот игнорировали. Вы знаете, кто такой харизматичный человек?

— Вероятно, человек, обладающий определенными лидерскими качествами.

— Не совсем. Скорее, определенными магически-магнетическими качествами. Я где-то выискал забавное определение: «*Харизматичный человек — тот, кто еще не начал говорить, а его уже все слушают*». Так вот я — человек, начисто лишенный харизмы; сколько бы я ни говорил, хоть во все горло ори — никто никогда меня не слушал.

— Ну я же вас сейчас слушаю.

— Вам положено — это ваша судьба, сами сказали. А иначе бы и вы отмахнулись от моей истории. Вы ведь читали «Дядю Ваню», помните, там был такой персонаж — Телегин?

— Конечно.

— Это я. Что ни скажи, а в ответ получаешь одно: «Закрой фонтан, Вафля».

— «Заткни фонтан».

— Что?

— «Заткни», а не — «закрой». «Заткни фонтан, Вафля» — так у Чехова говорится.

— И тут маху дал. Такой уж я несуразный человек. И такая вот любопытная у меня история.

— Пожалуй, любопытная. Но только при чем тут мой мандраж?

— Ах, да... Не умею я рассказывать истории. Дело в том, что есть еще кое-что... И тоже про магические качества.

— «Еще кое-что... про магические качества». Это должно что-то означать? Не считите, что я от вас отмахиваюсь, но вы уж прямо рассказывайте свою историю, да и пойдём.

— Не так все просто. Я, можно сказать, хочу раскрыть вам... Но нет, наверное, не стоит. Даже — вам, не стоит.

— Слушайте, давайте вы все-таки расскажете то, что хотели рассказать. Вы ведь хотели этого и сейчас хотите?

— Да, хочу, но...

— Все, раз вы хотите рассказать, считайте, что я хочу вас выслушать. А больше ни о чем не думайте. Вы рассказываете — я слушаю. Я даже не буду вас торопить — истории не терпят спешки. Просто расскажите.

— Хорошо. Рассказываю. Как бы и взяться... В общем, когда тебя не замечают, ты оказываешься предоставлен сам себе. Ну а что делать людям, предоставленным самим себе? Правильно — им остается в основном книжки читать да фильмы смотреть. Вот я и читал книжки. Много книжек. В этом, конечно, еще нет ничего необычного. Но кое-что необычное уже происходило. Понимаете, со временем я стал замечать, что у меня в мозгу ни с того ни с сего формируется некая цифра, точнее, число. Ну, например, иду я по улице, а в голове все время крутится: 50,6, 50,6, 50,6 — и никакими силами эти 50,6 мне из головы не выкинуть. Прямо наваждение какое-то. Но потом число вдруг по каким-то причинам менялось, причем я не мог сказать, что это, например, происходило ночью, так, чтобы я просыпался с каким-то новым числом в голове. Нет, число могло поменяться в течение суток, а могло преследовать меня несколько дней; могло поменяться совершенно (с 50,6 до 70,3), а могло — слегка (с 50,6 до 50,8). Понятно, что вся эта числовая свистопляска меня сначала тревожила, а потом и пугать стала.

Я как-то попытался рассказать о происходящем матери и двум-трем своим одноклассникам, которые соглашались иногда замечать меня, но, по обыкновению, меня просто не выслушали. Очевидно, с такими, как я, ничего не должно происходить. Меня просто нет, соответственно, со мной ничего и не происходит. В общем, я продолжал жить с этими непонятными числами в голове. Но однажды я сумел четко уловить момент смены числа — это случилось, когда я, прочитав какую-то книгу, взялся за чтение новой: вместо 30,7 вдруг выскочило 72,5. С тех пор я стал наблюдательнее и еще несколько раз четко уловил момент переключения с одного числа на другое, — и все время это происходило в момент чтения какой-то *новой* книги или просмотра *нового* фильма. Потом я заметил еще одну вещь: каждой конкретной книге или фильму соответствовало какое-то конкретное число. Если, например, я сначала читал книгу, и у меня в голове формировалось некоторое число (допустим, 50,6), а потом я смотрел фильм и число это менялось (допустим, 15,5), то при возвращении к чтению той же книги возвращалось и ранее сформировавшееся при чтении число (то есть опять — 50,6). Такая вот арифметика. Наконец я стал замечать еще кое-какие детали. Например, когда я смотрел или читал какую-то ерунду, то и числа были маленькие (где-то в диапазоне от пяти до двадцати), а когда я читал или смотрел что-то стоящее, то и числа, соответственно, были куда больше. И вот при наличии всего этого эмпирического материала мне теперь только и оставалось сделать обобщающий вывод, который уже напрашивался. А как вам кажется — при таких данных вывод действительно напрашивается? Вы бы, например, могли его сделать?

— Нет. Я до сих пор не очень понимаю, куда вы клоните.

— А мне так кажется, что все очевидно. Я как понял, так не мог понять — почему так долго это оставалось непонятным. Я ведь просто своего рода *эстетический градусник*. Да, именно так — эстетический градусник — вот кто я такой. То число, которое крутится в моей голове, — это, так сказать, температура произведения, говоря по-другому — его *объективная эстетическая значимость*, измеряемая по шкале от нуля до ста. Со временем я также понял, что мне надо прочитать или посмотреть около десяти процентов произведения, — и искомая цифра уже формируется в моей голове. Правда, это еще не окончательное число — окончательным оно может считаться лишь при знакомстве с произведением целиком. Однако при последующих наблюдениях я заметил, что знакомство с двадцатью пятью процентами произведения обычно дает число, которое впоследствии уже редко существенно меняется. Оно и понятно — трудно представить себе, чтобы фильм был на двадцать пять процентов шедеврален, а на остальные семьдесят пять никуда не годился. Хотя тут, признаюсь, бывают разные случаи, но это уже внутренняя кухня измерений. Сейчас важно донести самую суть, и я ее донес. И вот что я хочу сказать напоследок. Помните, я говорил про магические качества? Мне кажется, что это совершенно волшебное качество (способность к эстетическому измерению) мне дано как бы в компенсацию за полное отсутствие всяких прочих качеств. Своего рода насмешка Бога, если хотите. Когда я это понял, то меня прямо как током ударило, и я бешено захохотал⁹². Ишь, что придумал сотворить: пол-

⁹² «— Это золотые гири! Понимаете? Гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда. Три пуда чистого золота. Это я сразу понял, меня прямо как ударило. Я стал перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейко! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному, — разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый, больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер. Я честный!

— А вдруг они не золотые? — спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский возможно скорее развеял его сомнения.

— А какие ж они, по-вашему? — иронически спросил нарушитель конвенции.

ное ничтожество с уникальным талантом! Хотя талантом это и не назовешь — это скорее какое-то врожденное свойство. Я ведь не могу развивать его — оно просто есть. Такие вот дела. Таков конец моей истории. Безумие, верно? Я бы и не стал вам рассказывать, но вы сами запросились, так что не обессудьте. Если хотите, смело считайте меня сумасшедшим, я не обижусь.

После этих слов могло бы повиснуть гробовое молчание, но только дело-то, как вы еще помните, происходило на Невском, а Невский проспект продолжал шуметь ровным автомобильно-человеческим гулом. Михаил задумчиво молчал. Молчал и Василий, но все же именно он произнес следующую фразу:

— Ну, я думаю, нам действительно пора идти.

— Подождите-ка, Василий, — прервал его озадаченный Михаил. — Вы рассказываете какую-то совершенно умопомрачительную историю, а теперь говорите, что нам пора идти. Дайте мне хоть немного прийти в себя. И кстати, я хотел у вас спросить: а почему вы все-таки так уверены, что являетесь этим самым, как вы сказали, эстетическим градусником? Это ведь всего лишь гипотеза?

— Нет, это не гипотеза. Но разумеется, это и не есть нечто, что я мог бы строго доказать. Просто я знаю, что это именно так. Кроме того — это объясняет все факты, а ничто другое их не объясняет.

— Допустим. Но это касается только книг и фильмов или...

— Или. Это касается любого эстетического объекта, будь то картина, мелодия, книга или фильм. Дайте мне эстетический объект, и я вам измерю его температуру. Его объективную эстетическую температуру.

— Ну хорошо, а почему вы так уверены, что эта температура непременно объективна?

— А вы когда берете градусник, склонны ли вы априори ставить его показания под сомнение?

— Пожалуй, нет.

— Так и со мной. Если уж я эстетический градусник, то было бы довольно странно, если бы я был *испорченным* эстетическим градусником. Если уж мне дарован такой талант или такая способность, то, вероятнее всего (и даже почти наверняка), эта способность подлинная. Знаете, еще Декарт говорил, что Бог не обманщик. Если ОН и посмеялся надо мной, то все же не обманул. Это было бы слишком жестоко — даже по меркам Бога.

— Допустим и это. Последний вопрос: как это все связано со мной и моим мандражом?

— Ну, это уж такой пустяк, что вы и сами ответите. Отчего у вас мандраж-то? Вам ведь хочется узнать — стоящее вы что-то написали или, может, так себе? Тварь вы, так сказать, дрожащая или талант имеете? Это ведь вас грызет. А дай вы свою рукопись не Томскому, а мне, и я бы вынес мой... то есть свой... то есть не мой и не свой, а *объективный* вердикт — в тот же день, как мы встретились. Так что связь, как видите, самая прямая.

— Понятно. Кстати, Василий, а вы не думали, как там сейчас говорят... монетизировать свой талант? Ведь для любого издательства, а еще скорее — для любой киностудии — вы просто совершенно незаменимый человек. Я думаю, и свой миллион вы бы уже давно заработали (причем без всякого Томского), да и человеком стали бы важным, так что не пришлось бы и самоуничтожаться.

— Нет, ни при каких обстоятельствах я не могу быть важным человеком. Я ведь, кажется, вам уже объяснил... Пожалуй, стоит рассказать еще одну историю из своей-мо-

— Да, — сказал Балаганов, моргая рыжими ресницами, — теперь мне ясно»
(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»).

ей жизни, чтобы стало понятнее. По-хорошему ее стоило рассказать немного раньше, еще до того, как я раскрыл вам свой главный секрет; ну да я, как уже было отмечено, не умею рассказывать истории, да и вообще все делаю невпопад. Впрочем, я опять начинаю самоуничижаться. Итак:

История о том, как Вася Глупов наматывал круги вокруг школы

Как я вам уже говорил, иногда это большой вопрос: стоит ли человеку познавать самого себя или не стоит? И все-таки ответ на вопрос положительный: стоит. Даже если вы ничтожество, даже если вы — никто, лучше все-таки осознать это. Иначе вы все время будете попадать во всякие несообразные ситуации и пытаться сделать что-то, чего вам делать ни в коем случае нельзя. Вот и я, пока учился в школе, конечно, немало переживал из-за своей ничтожности, из-за своей, так сказать, невидимости. Но каждому человеку хочется заявить о себе, — хотелось и мне. И вот однажды на уроке физкультуры мы бежали три километра — десять кругов вокруг школы. Бегал я примерно, как все: не я был первым, не я был последним. А лучшим бегуном считался у нас Дима — он вообще многое делал лучше всех; есть такие типы, которые во всем хотят быть первыми; из них потом обычно хорошие бизнесмены получаются, ну или не знаю уж там кто. Важная деталь: тот наш забег смотрели девочки, а для различного рода Дим это мощнейший стимулятор, так что он не просто бежал, но и демонстрировал какой он весь из себя альфа-самец, чемпион из чемпионов. Девочки в свою очередь охотно играли в эту игру, встречая каждое его появление из-за поворота восторженно-чирлидерскими повизгиваниями. Десять кругов славы для Димы, закончившиеся триумфальным финишем. Он выиграл у ближайшего преследователя метров, наверное, сто, общая же группа, где был и я, проиграла ему почти целый круг. Когда мы, задыхаясь, финишировали, свеженький Дима разве что автографы своим поклонницам не раздавал — ей-богу, смотрелось все это именно так. Олимпийские игры человек выиграл, не меньше. Очень мне тогда эта картинка в голову запала; ну и, конечно, я представлял себя на месте Димы. В самом деле: а почему бы мне не потренироваться да и не выиграть следующий забег? Когда он там еще будет? Наверное, через полгода. Как раз времени хватит, чтобы натаскать себя. В общем, я решился и приступил к тренировкам — с секундомером в руках, чтобы все было по науке. Собрался, пробежал, замерил — ровно четырнадцать минут. Ну что ж, с чего-то надо начинать. Первые забеги давались мне тяжело — при беге на три километра я всегда с трудом доползал до финиша. Ну так и бегать приходилось всего два в году, а тут я стал совершать чуть ли не ежедневные пробежки. В общем, какое-то время мне, естественно, хотелось бросить всю эту затею, тем более что и никакого прогресса не было: я все время валандался вокруг результата в четырнадцать минут. Тогда я решил на какое-то время отложить секундомер в сторону и просто привыкнуть к дистанции. Так прошел где-то месяц, и мне вроде бы стало полегче, а иногда я даже находил в себе силы ускоряться по ходу пробежки. Не без волнения я снова взял в руки секундомер и совершил контрольный замер — тринадцать минут! Целую минут скинул! Это, наверное, был один из самых счастливых дней в моей жизни, а потом начался один из самых моих счастливых жизненных отрезков. Впервые в жизни у меня была цель. Большая цель. Из ничтожества я превращался в самого быстрого ученика в классе, а может быть, и в школе. А может быть, и в городе, в стране, в мире? Воображение человека очень быстро отрывает его от реальности, уводя его в реальность, создаваемую самим воображением: определенно, иногда я видел себя быстрейшим человеком в мире. Между тем я и реально прогрессировал, уверенно пробиваясь от тринадцатиминутного результата к двенадцатиминутному, — а по школьным меркам это уже весьма и весьма

ма нехилый результат. В общем, и этот рубеж я взял (выбежал из двенадцати минут), после чего мне оставалось лишь дожидаться школьного забега; я был уверен, что выиграю его за явным преимуществом, окруженный всеобщим восхищением и стайкой подпрыгивающих от восторга одноклассниц. И вот ожидаемое время пришло. Забег состоялся весной, но погода стояла довольно противная — безоблачное солнце, но в сочетании с пренеприятнейшим холодным ветром; находиться в такую погоду на улице — не самое большое удовольствие. Это стало причиной первого казуса — девочки на этот раз отказались от просмотра мальчикового забега, предпочтя игру в баскетбол в тепло-безветренном спортивном зале, — а ведь присутствие девочек было довольно важной составляющей моего грядущего триумфа. Ну ладно, нет так нет. В конце концов, не из-за них же все затевалось. Главное было доказать самому себе, что я не ничтожество, что я тоже могу быть в чем-то первым, что я могу во весь голос заявить о себе. Что ж, время пришло. Забег начался. Первые два круга я держался в общей группе, так сказать, прощупывал пульс своих возможностей. Однако мне быстро стало ясно, что я могу поддерживать куда более высокий темп, на который я и переключился на третьем круге. Группа раскололась на две части — одна потянулась за мной, другая отстала. Так мы бежали где-то с третьего по пятый круг, после чего я еще немного поддал пару, и нового темпа уже не мог выдержать никто. Один Дима еще какое-то время преследовал меня, но едва ли долго — все наращивая и наращивая темп, на восьмом круге я уже обогнал некоторых ребят на целый круг! А на десятом, помещая вишенку на торт, я уже почти догнал и самого Диму, так что к финишной черте мы пришли почти нога в ногу: только я заканчивал свой десятый круг, а он — девятый. Тут-то меня под корень и подрубили. Навсегда подрубили. Наш физрук как-то буднично сказал: «Финиш», — и Дима остановился. Понимаете, что произошло? Учитель посчитал, что Дима тоже пробежал десять кругов и пришел первым, а я, отстав совсем чуть-чуть, пришел вторым.

— Да уж, ситуация! — невольно рассмеялся Михаил. — И Дима, конечно, не стал разуваться физрука?

— Не стал. И никто не стал.

— Что значит — никто? А вы?

— Я тоже не стал. У меня просто опустились руки. Я хотел было поспорить, но сразу увидел, как это все нелепо будет смотреться со стороны. Меня, как обычно, не выслушают, я, как и обычно, ничего не докажу. Просто промычу что-то, и все. Да и по большому счету — кому какая разница, кто там пришел к финишу первым, а кто — вторым на каком-то банальном школьном забеге! Главное, что Вася Глупов (или как там его?) никак не мог прийти первым, а все остальное — неважно. В общем, все закончилось предельно буднично. Обычный день в школе, обычный урок физкультуры. Но главное, я понял — я понял, что впредь мне уже никогда не стоит «выставляться». Ничего не получится, хоть ты что делай. Как у Джанни Родари в одной сказке — про человека, который не родился, а «родился» — с орфографической ошибкой, после чего и вся жизнь его превратилась в сплошную ошибку...

— РАдился.

— Что?

— Не «родился» и не «роддился», а — «РАдился». Так у Родари говорится⁹³.

— Опять мимо?! — как восклицал дядя Ваня.

⁹³ «— Энрико, печальный Энрико, когда и где ты родился?»

— Сеньор, я РАДИЛСЯ...

Стоп! Вот причина всех его бед. Он РАДИЛСЯ, понимаете? РАДИЛСЯ. Само появление его на свет уже было связано с ошибкой. А потом и вся его жизнь стала ошибкой. Так печальный Энрико стал ошибочным человеком» (Джанни Родари. «Печальный Энрико»).

— «Опять промах», а не «опять мимо»⁹⁴.

— Ну что ты будешь делать! Все невпопад... Вот видите — определенно я не родился, а — рАдился, и, наверное, не живу, а — жеву, и даже не цитирую, а — циттирую. А вы говорите — мог бы стать важным человеком. Не мог бы. Ни при каких условиях. Правда, я нашел способ компенсации... — здесь Василий, на время став столь словоохотливым, в сомнении замолчал, как бы ожидая новой порции подбадривающих слов от Михаила. Что ж, он их дождался:

— Ну, вы нашли способ компенсации. Что за способ? Давайте уж раскрывайтесь по полной.

— Не уверен, стоит ли. И нет, я сейчас не самоуничижаюсь. Просто я вижу, что вы ко мне чуть ли не симпатией прониклись, а если я продолжу свой рассказ, ваша симпатия быстро улетучится.

— Вот как? Что же вы такого натворили?

— Да ничего особенного. Творят опять-таки значимые люди, а я...

— А вы все-таки опять самоуничижаетесь.

— Что делать... Так вот, когда ты постоянно вынужден самоуничижаться, то и требуется какая-то компенсация. Ну, я и придумал... Ладно, расскажу все, как есть. *Раз я не существую для окружающего мира, то и окружающий мир не существует для меня* — так я решил. Иначе говоря, на все и на всех плюнул, оставив заботу лишь о самом себе. Как там Томский говорил: «Собственное благо всегда иллюзорно», — а на самом-то деле иллюзорно все, кроме собственного блага, — это уже я говорю, это уже мое открытие. Я даже помню момент, когда меня осенило. Мама купила сестре (той самой, доподлинно родившейся, причем без всяких орфографических ошибок) пирожное — настоящий праздник! Для сестры, разумеется, не для меня. Мне пирожных не полагалось. А я тогда пришел из школы раньше сестры и вижу — пирожное. И так мне вдруг захотелось его съесть, что никакого терпезу нету. Или терпеза? В любом случае какое-то корявое слово, но уж какое подвернулось. В общем, не утерпеть никак. Ну, я взял да и слопал сестрино пирожное. О, это было самое вкусное пирожное на свете! Никогда после мне уже не довелось съесть ничего подобного. Вероятно, вкус многократно усиливало как то, что я ел пирожное в первый раз в жизни, так и запретность действия. Конечно, мне потом влетело, ой как влетело, но это все были пустяки по сравнению с обретенным мною пониманием. Как многое я понял в тот день! Во-первых, я понял, что пирожному совершенно наплевать — ничтожество я или нет; оно одинаково вкусно для всякого его поедающего. Во-вторых, я понял, что мое удовольствие важнее всех прочих сопутствующих соображений, и если я только могу получить его, я не должен останавливаться ни перед чем. Да ведь и все, если копнуть поглубже, так считают — наши удовольствия и неудовольствия целиком управляют нами. Прыщик, вскочивший на нашей щеке, для нас больше раковой опухоли у соседа⁹⁵. Разве я не прав? Но я вижу по выражению вашего лица, как сильно я пал в ваших глазах.

94 «В о й н и ц к и й. Пустите, Hélène! Пустите меня! (*Освободившись, вбегает и ищет глазами Серебрякова.*) Где он? А, вот он! (*Стреляет в него.*) Бац!

Пауза.

Не попал? Опять промах?! (*С гневом.*) А, черт, черт... черт бы побрал... (*Бьет револьвером об пол и в изнеможении садится на стул.*)»

(А. П. Чехов. «Дядя Ваня»).

95 Сродни: «Потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй» (Ф. М. Достоевский. «Записки из подполья»).

— Мы пока об этом говорить не будем, хотя рассказ ваш весьма замечателен, точнее — симптоматичен. Значит, вы решили предаться удовольствиям?

— Ну, это очень громко сказано, это мне не под силу. И хотел бы, да не смог бы.

— Что же вам под силу?

— Потакать своим ничтожным страстишкам, естественно. Урывать кусочки послаще. По возможности. Ну и стараться свои скромные возможности расширять. Так что — тут пирожное, там тортик, там девушка-тортик за соответствующую плату, но на все это деньги нужны. Сладкое — дорого. Пришлось приворовывать по мелочам. Знаете, в каждом классе случаются истории, когда у учеников вдруг начинают пропадать вещи и карманные деньги. В нашем классе тоже начали вещички-денежки пропадать. Хе-хе. Характерно, что меня и не подозревали даже — настолько не хотели меня замечать. А я и рад. Я не существую для вас, вы не существуете для меня. А вот денежки ваши — они существуют, на денежки ваши я себе удовольствия покупаю. Денежки всем нужны, да — всем. А теперь мне миллион может прилететь, хотя и до сих пор не верится. На миллион я себе много самых разнообразных «тортиков» купить смогу. А что еще надо?

— Книги и фильмы оценивать, например.

— Ха-ха. Да кому это надо? И кстати, с чего это вы взяли, что такой человек, как я, то есть *эстетический градусник*, нужен издательствам или кинофирмам? Их цель — продажи, то есть все те же денежки, а вовсе не выявление культурной значимости продаваемого эстетического феномена. И я их за это не виню, более того, мне кажется, что это вполне разумно. Деньги и зрительский успех — вещь осязаемая; культурная значимость — вещь эфемерная.

— Сказал единственный человек на свете, умеющий ее буквально осязать.

— Хе-хе. Верно. Я ж и говорю — насмешка Бога. Но вообще я прав: никому это осязание не нужно, а менее всего — кинофирмам с издательствами. Им нужен современный, приносящий прибыль товар, а в современности (шире — в любом настоящем времени) всегда востребовано множество достаточно посредственных или прямо никаких с эстетической точки зрения вещей; то есть это для вечности они посредственны, а для современности — в самый раз. Вот и выходит, что я — слишком суровый термометр почти для всякого современного художника, если он не Леонардо да Винчи, разумеется. У вас есть на примете Леонардо?

— Леонардо... — задумчиво протянул Михаил.

— Ах, да — вы, вероятно, и сами на роль Леонардо претендуете.

— На что я претендую...

— Не моя забота. Согласен, согласен. Не буду касаться ваших хрустальных мечт своими грязными... но и это я, кажется, уже говорил.

— Говорили, да. Кстати, вот о чем я подумал. Может, обычным издательствам человек с такими странными, как у вас, способностями и не слишком нужен, а вот если мы возьмем Томского с его... как там?

— Что?

— Не помните разве? Он говорил о создании особой организации, своего рода творческого союза, еще название такое...

— Ах, да — «Глобальная культурная поддержка», кажется. Но я наверняка опять ошибся.

— А вот и не ошиблись. Именно так — «Глобальная культурная поддержка». А для такого рода организации вы и есть самый необходимый на свете человек. Вам так не кажется?

— Может, и кажется, да только все это не имеет смысла. Забыли разве, как Томский со мной в поезде «разговаривал»? «Я умею определять эстетическую значимость

любого эстетического объекта. — Молчание в ответ. — Я, говорю, умею определять эстетическую значимость любого эстетического объекта. — Молчание в ответ. — Дайте мне любой объект, и я вам мгновенно определю его эстетическую значимость. — Будешь продолжать надоедать мне, и я дам тебе мгновенного пинка». Думаю, между нами может произойти только такой «диалог».

— Так еще и я присутствую. А раз уж вы сами за себя говорить не умеете, то я беру на себя представительство ваших интересов. С вашего согласия, разумеется.

— Это как?

— Так. Вас, вы говорите, не замечают, а меня, напротив, никогда не игнорировали. Вот я и стану вашим рупором, так сказать, и придам вашим словам требуемый вес.

— Вы это всерьез?

— Абсолютно всерьез — такими вещами не шутят.

— В первый раз в жизни со мной такое. Но это вы так, не подумав...

— Подумав, подумав.

— А с чего вам вдруг мне помогать?

— Ну, так как в бескорыстную помощь вы вряд ли поверите, скажу так: родителями мне было завещано два дела: папа завещал мне создать что-нибудь великое, а мама — помочь нуждающемуся. Великое или невеликое, но то, что было в моих силах, я создал (написал книгу); теперь надо и помочь кому-нибудь, а трудно найти более нуждающегося в помощи человека, чем вы. Вот вам я и помогу.

— Да, завещаньице... Чувствую, история и вашей жизни прелюбопытна. Впрочем, не буду любопытствовать.

— Правильно, лучше не любопытствовать, а может, как-нибудь я вам и расскажу. Так согласны вы или нет?

— Чтобы вы стали моим рупором?

— Да.

— Это все как-то... очередная попытка выставиться. Мне уже свою жизнь не переиграть.

— А мы попробуем. Я вам твердо обещаю, что буду вас внимательно слушать — и заставлю и окружающих услышать ваши слова.

— Поздно. Слишком я уже свинтус. Слишком я уже погряз.

— И из трясины всех этих мелочных удовольствий я вас вытащу, так что вы и забудете о них.

— Это невозможно.

— Возможно.

— Невозможно.

— С моей помощью — возможно.

— С вашей помощью... И надолго вас хватит?

— На остаток жизни хватит. Так что?

— Что?

— Согласны или нет?

— Согласен, если это хоть что-нибудь значит.

— Ну и отлично, что согласны. А что это — «значит», и даже очень много значит — скоро убедитесь.

— М-да?

— Да. Однако я говорю так, как будто действительно уже являюсь важной персоной для Томского. Но пока что я, как и вы, почти никто; не более чем начинающий писатель со своей первой рукописью. Что возвращает нас к цели нашего, то есть моего, то есть нет, теперь уже действительно нашего, похода. А что там у нас со

временем — да уже пятнадцать минут девятого! И еще отсюда минут десять топать. Опаздываем...

Василий и Михаил встали со скамьи и влились в бодрую массу невыходящих фланеров. Затянувшийся разговор выполнил для Михаила важную функцию — он начисто забыл о себе, а следовательно, и о своем мандраже. А теперь еще надо торопиться, так что мандражировать опять некогда. До офиса было недалеко, но, видимо, дойти до него нашей парочке было не суждено. Не прошли они и половины пути, как из потока прохожих к Михаилу метнулась высокая фигура и заключила его в объятия:

— Вот вы где! А я уже и на месте высидеть не мог, ждал, что вы придете пораньше, а вас нет как нет! Не вытерпел, вышел на улицу, пошел наудачу, и — вот и вы!

Это, разумеется, был сам Томский — все такой же высокий, властный и разговаривающий так, будто весь мир — это его дом, а Невский проспект — прихожая в этом доме.

— Я прочел вашу книгу. Да вы понимаете сами-то, — чуть не кричал Томский (в скобках замечу, что речь Томского почти всегда отличалась повышенной эмоциональностью), — что вы такое написали! Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшно-прекрасную правду, на которую вы указали? Да ведь это сама жизнь, точнее — сама суть жизни! Философы рассуждают, философы стараются разъяснить загадку жизни понятийно, отвлеченно, а вы, художник, одною образною чертой выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб всякому мало-мальски вдумчивому читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника Истине! Поздравляю вас, Михаил, вы — великий писатель!⁹⁶

Я привожу эту речь по возможности в обработанном виде, на самом же деле она была куда более пространна и сбивчива. Сюра добавляла обстановка — ведь все происходило на улице. Прохожие с удивлением смотрели на поездную тройцу, а особенно на отчаянно жестикулирующего и посекудно восклицающего Томского. Кто-то улыбался, кто-то опасался — да и, конечно, зачастую трудно определить, чего можно ожидать от эксцентричных людей: то ли они вас насмешат, то ли незамедлительно отправят на тот свет. Но Томскому было все равно, что о нем подумают окружающие; Михаил же был несколько оглушен таким вот в прямом смысле слова свалившимся ему на голову признанием и не находил слов. Василий пока что помалкивал. Так что говорил по-прежнему один Томский:

— Это начало, друг мой, и трудно представить себе начало более яркое! Нас действительно свела сама Судьба — теперь уж это несомненно. Пожалуй, так и в мистика превратишься, ну да ведь и мистике в жизни есть место, и, кстати, в вашей книге это тоже отражено. В ней отражено все, решительно все! Вы знаете, что я ее уже не только прочитал, но и перечитал! Я ее уже наизусть знаю — вот такой я образцовый читатель! Теперь дело за малым, то есть за главным — издать! Но за этим дело не станет, хотя немного подождать все равно придется. Издательства-то у меня еще нет, а в один день всего не успеешь. Как вы думаете, с какого тиража лучше начать? Сразу оглушить публику миллионным тиражом или начать более скромно — тысяч со ста? А? Но это все детали, детали... А сейчас мне просто хочется обнять вас и уже не отпускать от себя. Вы — мой, навсегда мой. Мой автор. Мой и ничей больше.

И Томский действительно мертвой хваткой вцепился в Михаила — на глазах у все более веселящейся публики, понявшей, что опасаться этой тройцы, по-видимому, во все не стоит, зато есть чему от души посмеяться. Томский наконец обратил внимание и на прохожих и, ничуть не смутившись, сказал им только следующее:

⁹⁶ Только слепой не увидит, что речь Томского является косметически подправленной речью всемогущего критика Белинского, коей он, прочтя рукопись «Бедных людей», осчастливил начинающего писателя Достоевского.

— Над кем смеетесь? Над собой смеетесь! Сейчас смеетесь, а завтра поймете, что стали свидетелями исторического события.

Эти слова, разумеется, лишь развеселили окружающих еще больше, что стало незамедлительно видно из их реакции:

- Мы это уже и так поняли.
- Публичное проявление чувств в не подобающей для публичных мест форме.
- Ха-ха, к тому же однополых чувств. Парад однополой страсти просто!
- Осторожнее с этим — у нас гей-парады не того, не поощряются.
- У нас ничего не поощряется. У нас все только запрещается.
- И правильно.
- Нет, неправильно.
- Нет, правильно. Запреты дисциплинируют.
- Запреты дебилизируют. Свобода раскрепощает.
- Раскрепощенная гейропейская мразь.
- Мурло патриотическое.

К какого рода рукоприкладству привел дальнейший обмен репликами, наша троица так и не узнала, потому что Томский, трезво оценив ситуацию, подвел под ней черту:

— Ладно, нам пора скрыться с людских глаз и обсудить наши дела в подобающей деловой обстановке. Идемте!

И троица скрылась.

* * *

Далее можно было бы подробно описать офис Томского, а можно просто сказать, что он мало чем отличался от всяческих прочих офисов — пожалуй, второй вариант предпочтительнее, да и куда экономнее⁹⁷. Так что пусть это будет самый обычный офис, разве что зараженный несколько повышенной, а точнее даже — лихорадочной активностью, что вполне естественно, учитывая прибытие нового да еще такого беспокойного хозяина, как Томский. Но вся эта активность относилась к бизнесу; Томского же и его спутников сейчас интересовали совсем другие дела.

Итак, скрывшись с глаз публики Невского проспекта, наша троица так же быстро укрылась и от глаз служащих Томского (хотя им и попытались завладеть раз этак пятнадцать, но он лишь досадливо отмахивался от пытающихся) и уединилась в его кабинете.

— Чертов бизнес требует присутствия, — со вздохом сказал Томский, усевшись за стол и усадив своих гостей напротив себя, — а я, признаться, до сих пор не знаю, что мне с ним делать. Думаю, стоит сразу все продать, но тут еще придется пораскинуть мозгами. М-да... Михаил, что это с вами? Все в порядке?

- Да так, сердце опять прихватило.
- Опять? У вас проблемы с сердцем?

— В том-то и дело, что никаких. С таким сердцем, как у меня, до ста лет живут. Это мне врач так сказал. Просто сегодня утром как-то мне совсем нехорошо было. И еще пока сюда шел, прихватило слегка. Но потом прошло. Наверное, резкая смена обстановки: привык я за последние годы к тишине и покою, а тут сразу столько всего навали-

⁹⁷ «Здесь автор подробно описывает дом дона Дьего, описывает все, чем обыкновенно бывает полон дом богатого дворянина-землевладельца, однако ж переводчик этой истории почел за нужное опустить эти и прочие мелочи, ибо к главному предмету они никакого отношения не имеют, между тем вся сила истории в ее правдивости, а не в сухих перечислениях» (Мигель де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Т. 2.).

лось, да еще вы на меня прямо набросились-оглушили, — да еще и на виду у всех. Вот, наверное, от волнения опять и подступило. Сейчас отпустит, валидола разве что...

— Ну, валидол не такая вещь, которую трудно найти. Могу прямо сейчас озаботиться...

— Не стоит. Мне уже полегче.

— И отлично. А ты, кстати, тут зачем, разве я тебя звал?

Этот грубый вопрос, естественно, был обращен к Василию, который в ответ лишь униженно и оскорбленно промямлил:

— Я думал, что...

— Денежные вопросы мы обсудим отдельно, а пока что я настоятельно попросил бы оставить меня с Михаилом наедине.

Василий с унылой покорностью встал и уже готовился покинуть кабинет, но Михаил, как и обещал, заступился за него:

— Не уходите, Василий. Дело в том, что он пришел сюда не за миллионом... то есть не только за миллионом. Тут вот какая история...

И Михаил спокойно и веско, без всякой аффектации, пересказал Томскому повесть об удивительных способностях Василия, каковую и сам почти только что услышал от него. Томский слушал внимательно, но с каким-то, как бы и сказать, брезгливым недоумением. Завершив свой рассказ, Михаил взглянул на Томского. Тот в ответ лишь зевнул.

— По-вашему, это неинтересно? — довольно-таки раздраженно спросил Михаил.

— Интересно — для любителей сказок⁹⁸. А я, конечно, люблю сказки, и даже очень, но только их место в книгах. Но мы-то с вами вроде как вполне реальные люди, а не вымышленные персонажи, да еще со сверхспособностями. Так что...

— Так что поднимайся и выметайся...⁹⁹

И Василий, грустно усмехнувшись, опять поднялся со своего места.

— Пойдите-ка, — опять прервал его попытку ухода Михаил. — Это, конечно, ваше право, верить или не верить, — он опять обращался к Томскому, — но и у меня есть одно право — право автора, если хотите. И я как автор рукописи, которая и вам, как я понял, совсем небезынтересна, хочу провести один опыт. Пусть Василий прочтет ее и вынесет свой «объективный» вердикт. Прямо здесь, прямо сейчас.

— То есть моего вердикта вам недостаточно? — грубовато-обиженно отреагировал Томский.

— Александр, давайте не будем вдаваться в амбицию. Это просто мой каприз, если хотите. Имеет автор право на каприз?

— Безусловно. К тому же какой бы вердикт ни был вынесен, моего мнения о книге это не изменит. Что ж, вот она — рукопись, бери и читай. Здесь рядом есть кабинет, и, по-моему, он сейчас свободен — там тебе никто не помешает. А мы пока с Михаилом пообщаемся.

Василий взял в руки рукопись и удалился в предложенный ему смежный кабинет, который действительно оказался свободен. То, что происходило дальше, с трудом

⁹⁸ «Прочитав это странное повествование, доктор Мортимер сдвинул очки на лоб и уставился на мистера Шерлока Холмса. Тот зевнул и бросил окурочку в камин.

— Ну и что же? — сказал он.

— По-вашему, это неинтересно?

— Интересно — для любителей сказок»

(Артур Конан Дойль. «Собака Баскервиль»).

⁹⁹ «— ...Позвольте еще, князь, чтоб уж разом все разъяснить: так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, — хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, — то, стало быть...

— То, стало быть, вставать и уходить? — приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, не смотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств» (Ф. М. Достоевский. «Идиот»).

поддается какому-то описанию. Впрочем, некоторое время все вроде бы шло так, как и должно идти. Томский и Михаил увлеченно беседовали друг с другом, — любой автор с удовольствием пообщается с внимательным читателем, который охотно припоминает различные эпизоды из его книги, сопровождая их самыми лестными комментариями. Опять-таки Томский был не просто читателем, но и потенциальным издателем, а какому автору не будет интересен разговор об издании его первой книги? В общем, между Александром Сергеевичем и Михаилом Юрьевичем установилась полная гармония, — насколько она только возможна в нашем негармоничном мире. Но затем мир вспомнил, что он есть юдоль печалей и горестей, и обрушился на действующих лиц всей своей тяжестью.

Кошмар начался, когда Томский, вдоволь наговорившись с Михаилом, вспомнил о Василии и с нескрываемым скепсисом спросил:

— А сколько времени надо этому термометру, чтобы показать температуру?

— Времени — не знаю, но, по-моему, он говорил о десяти процентах текста — чтобы получить первую оценку, которая потом уже редко существенно меняется.

— Хм, наверное, десятую часть он уже прочел, хотя все это и смехотворно. В любом случае пора ему закругляться, да и нам тоже.

С этими словами Томский встал, подошел к двери смежного кабинета и открыл ее. На секунду задержавшись в проеме двери, он шагнул внутрь и пропал из поля зрения Михаила. Затем Михаил услышал голос Томского, но звучащий приглушенно — как бы издалека. Кажется, что-то случилось. Кажется, Томский что-то кричал. Михаил между тем словно воочию увидел женщину в черном, с непомерно широким белым платком на голове. Видение показалось ему знакомым, но он не мог вспомнить, где же он раньше видел эту женщину. «Ах, да — я же видел ее сегодня во сне, — подумал Михаил. — Кажется, я опять погружаюсь в забытье. Странный сегодня день. Очень странный. И все вроде бы складывается отлично, но почему же так тяжело на сердце... Впрочем, с таким сердцем живут до ста лет...» Следующим он увидел искаженное лицо Томского, склонившегося над ним. Томский что-то говорил, но Михаил не понимал что. Вместо реального Томского он вдруг снова увидел двух мужчин из видения — мужчин со злыми лицами, с яростным сладострастием распиливающими его, Михаила. Как и во сне, сначала он увидел их злые лица, потомдвигающиеся в такт руки, а потом и... На этот раз боль сразу затопила все его существо. Тут-то бы ему и проснуться...

Томский, открыв дверь в смежный кабинет и заглянув внутрь, увидел только, что кабинет пуст. Да, кабинет был пуст. Это факт. На самом деле, говоря, что это факт, я, конечно, несколько преувеличиваю. То, что кабинет пуст, не было фактом. В кабинете были и стол, и стул, и лампа, и стеллажи с папками, и еще много всяких вещей и вещиц, перечислять которые я опять-таки не вижу большого смысла. Следовательно, кабинет не был пуст, и именно это является фактом. Однако фактом являлось и то, что в кабинете не было ни Василия, ни рукописи, и в этом смысле он действительно был пуст. Сделав это совершенно необходимое отступление, я продолжаю.

Следует сказать, что кабинет имел два выхода (или входа), один из которых вел в кабинет Томского, а другой — в общеофисный улей, так что при желании всякий его обитатель мог покинуть пространство кабинета, не попадаясь на глаза Томскому — каковой опцией, очевидно, Василий и воспользовался. Но зачем он это сделал? Не этот ли именно вопрос задавал себе Томский, обнаружив установленную только что относительную пустоту кабинета? Нет, не этот. Он вообще какое-то время не мог понять, с чем он, собственно, столкнулся. Пожалуй, он чувствовал себя как человек, который купил себе дорогостоящее авто, один раз с наслаждением проехался на нем, но вый-

дя на следующее утро на улицу, не обнаружил авто на положенном месте. Мысль об угоне едва ли является первой мыслью такого человека. Скорее, он просто не понимает, как это так — ведь вот тут должна стоять машина, но ее почему-то нет. Возможно, что даже самый трезвомыслящий на свете человек в таком случае закроет глаза, надеясь на то, что, открыв их вновь, он увидит-таки по недоразумению отсутствующее авто. Но авто нет. Угнали. Да, эта мысль, едва ли являющаяся первой, все же должна с необходимостью явиться. Вот и Томский, поначалу не поняв, что же собственно такое произошло, через секунду-другую скорее почувствовал, чем понял, что произошло нечто совершенно невозможное, ужасное и непоправимое: рукопись исчезла! Только тут он со всей беспощадной ясностью осознал тот факт (на этот раз — несомненно факт, без всяких оговорок), что ведь и существует рукопись в одном-единственном экземпляре — и вот ее нет! Тут же Томский увидел, что на столе лежит записка. Он судорожно схватил и прочел ее:

Это действительно одна из величайших из когда-либо написанных книг. Я забираю ее. Вы ее никогда больше не увидите. Никто и никогда не прочитает ее. Отныне я — ее единственный и полноправный читатель. Навсегда. Скушали, господин всесильный миллиардер?

Р. С. Прости меня, Миша — хороший ты человек. Но я, кажется, нашел способ впервые в жизни стать важной персоной. А я, уж прости, но я для себя важнее, чем ты для меня. Все мы — самые важные для самих себя люди. Даже такие ничтожества, а может быть, и особенно такие ничтожества, как я. И все же — прости меня.

Томский в бессилии зарычал. Но бессильное рычание длилось недолго, ведь Томский был человеком действия. Если бы у него угнали машину, он сразу же стал бы предпринимать все необходимые действия, чтобы ее вернуть. Теперь у него пропала рукопись. Что делать? Очень просто: необходимо настигнуть вора; к тому же он в точности знал, кто является вором. Томский пулей рванул к охраннику.

— Не видел? Мимо тебя не проходил невысокий человек с папкой? Он должен был выйти из того кабинета.

— Как же, минут пятнадцать назад. Проходил.

— И куда он пошел?

— Туда же, куда и все — напрямиком на Невский.

— А ты его и выпустил?

— Я не получал никаких указаний...

— Понятно, понятно. Слушай меня внимательно. Сейчас ты бежишь на улицу и находишь мне этого человека. В противном случае считай, что ты здесь больше не работаешь.

— Как же я его найду? Я и видел-то его мельком.

— Не знаю как. Найди, и все. Чтобы через полчаса он был тут. Найдешь — премия. Не найдешь — увольнение. Вперед.

Охранник, не выглядящий весьма воодушевленным предложенной альтернативой, отправился в заранее обреченную на провал поисковую экспедицию. Томский, между тем и сам понимая, что так ситуацию не разрулишь... но как, как ее теперь можно разрулить? Пока что он вернулся в свой кабинет, хотя и не очень понимая, что же он скажет автору, у которого только что пропала его единственная рукопись? Но говорить ничего не пришлось. Войдя в кабинет, он обнаружил, что Михаил, неестественно съежившись, лежит на полу. Томский бросился к нему и приподнял его голову. Михаил шептал какие-то слова, которые с трудом, но еще можно было разобрать:

— Все... отлично... тяжело на сердце... живут до ста лет...
— Валидол! — взревел Томский и снова бросился в офис. Но хотя теоретически валидол и есть нечто легконаходимое, практически в самый нужный момент его может под рукой и не оказаться. Да и поможет ли тут валидол? Надо звонить в «Скорую»! Срочно!!! Подумано — сделано. «Скорая» прибыла довольно скоро, и вот уже врач склонился над Михаилом.

Совсем не хеппи-энд

— Умер, — чуть не радостно констатировал прибывший врач. Молодой, какой-то несолидный врач.

— То есть как это — умер? — даже не спросил, а выдал из себя опешивши-пришибленный Томский.

— Умер, — повторил врач.

— Чепуха какая-то. Еще только что он был жив. Да я с ним разговаривал только что.

— Так всегда и бывает, — усмехнулся молодой, какой-то несолидный врач, говорящий невозможную чепуху. — Человек еще только что жив и разговаривает, а в следующее мгновение он уже умер и молчит. Он жаловался на сердце?

— Жаловался, но не слишком. Говорил, что отпустило.

— Эх, и все-то терпят, терпят... Сколько раз сказано — такими вещами не шутят, — сам врач при этом говорил шутя, его как будто веселило все происходящее. — Эти больные — такие забавники! Болит сердце — принимай меры. Лекарства пей, волнений избегай... А теперь уже что? Теперь уже все.

— Что значит — все?

— Все — значит, умер человек, — молодой, какой-то несолидный врач, говорящий невозможную чепуху и усмевающийся в самые неподходящие моменты, снова усмехнулся. — Да, умер, — с явным удовольствием повторил он; факт смерти определенно казался ему самым смешным и одновременно безусловно справедливым. Слушаешь врачей, принимаешь лекарства и следишь за собой — живи себе на здоровье, нет — помирай. Все честно, не жалуйтесь. — Умер, — в третий раз произнес врач свое любимое слово.

— Умер! Так воскресите его! Наверняка его еще можно как-то спасти. Я требую, чтобы через пять минут он был жив!

— Требуйте у Господа Бога, может быть, Он поможет, а медицина тут, увы, бессильна.

И молодой, какой-то несолидный врач, говорящий невозможную чепуху и усмевающийся в самые неподходящие моменты, порадовавшись своей последней остроте и заодно отстояв честь бессильной медицины, удалился¹⁰⁰. Томский остался один в опустевшем здании офиса. Через некоторое время пришел охранник. Вор, естественно, не нашелся. Рукопись пропала. Михаил умер. Совсем рядом жил своей вечно псевдопраздничной жизнью вечерний Невский проспект.

¹⁰⁰ Я понимаю — только что прочитанную вами сцену констатации смерти трудно посчитать хоть сколько-нибудь реалистичной, хотя прибывший врач действительно был молод и несолиден и усмехался в самые неподходящие моменты, но при этом вы уж поверьте, что для спасения Михаила было сделано все, что положено в таких случаях. Я же привожу эту сцену так, как ее запомнил Томский в своем специфическом состоянии, — а он запомнил ее именно в таком вот скорее абсурдистском виде. Оно и неудивительно, ведь все произошедшее и трудно было воспринять как-то иначе, кроме как абсурд.